Е.МАГНУСГОФСКАЯ



Е. Магнусгофская

"СВѢТЪ И ТѢНИ"

Сборникъ разсказовъ

Печатано въ типографіи Э. Левина, Рига, Мельничная улица № 33

hillianness and all all the second se

...За честь и свободу Родимой отчизны, Царю и народу Мы отдали жизни... Мы въ жертву Ему же Сгорали отъ зноя, Въ окопахъ, на стужъ, Мы гибли зимою... Насъ смерть поджидала, Болъзни косили... Рать кръпко стояла,— Мы все выносили...

Предисловіе.

О Великой войнъ написала женщина?... Она была въ окопахъ?... Она ходила въ атаки?... Она была добровольцемъ?...

Въ томъ то и прелесть разсказовъ, что она не участвовала въ томъ, что принято называть войною — въ бояхъ и сраженіяхъ, въ атакахъ и развъдкахъ, тамъ, гдъ убиваютъ и ранятъ, жгутъ, грабятъ и насилуютъ.

Она пережила войну въ ея тылу, въ лазаретахъ и госпиталяхъ, въ городахъ и селахъ, занимаемыхъ непріятелемъ, въ помъщичьей усадьбъ, гдъ стали вражескіе офицеры. И неустанно, чуткой молодой дъвичьей душой она искала и тутъ великій людской героизмъ.

Она нашла дъвушекъ, безстрашно готовыхъ на смерть ради свершенія подвига, мальчишекъ— уличныхъ незамътныхъ бродяжекъ, возвышенныхъ войной до героизма. Подлость насилія войны авторъ освътилъ яркимъ свътомъ самопожертвованія, гнусность уклоненія отъ войны заклеймилъ презръніемъ любимой и когда-то любившей женщины.

Все просто, не вычурно, ясно, протокольно точно и овъяно задумчивой прелестью женскаго любящаго людей сердца, тонкимъ чувствомъ природы.

Гюи де Мопассанъ въ своей "Мамзель Фифи" описалъ тылъ франко германской войны, 1870—

71 годы, и его повъсть вольной французской дъвушки мы помнимъ лучше, чъмъ "Погромъ" Эмиля Золя, посвященный самой войнъ.

О подвигахъ тыла, о страданіяхъ покинутыхъ невъстъ, о дъвушкахъ—жертвахъ войны, о сестрахъ милосердія, посвятившихъ себя напутствованію умирающихъ солдатъ и умъвшихъ это дълать такъ, что солдаты умирали съ ясной улыбкой — такъ мало писали. Герои — солдаты, офицеры, генералы, славные, доблестные полки; — но кромъ нихъ война родитъ и другихъ героевъ, тоже страдающихъ, умъющихъ тихо умирать и жертвовать собой для Родины — и о нихъ не гръхъ вспомнить...

Есть здъсь герои подлинной войны—но это герои тихіе. Солдаты, ничъмъ не замътные, свято и покорно до конца исполнившіе свой долгъ.

Свътъ и тъни...

"Смерть", — пишетъ авторъ — "оттъняетъ жизнь, какъ тънь — свътъ... видя близко конецъ, мучительно хочется жить, пользоваться всъми манящими благами человъческой жизни, взять отъ нея поскоръй, что есть у нея свътлаго, яркаго, волнующаго".

Кто не хочетъ забыть войны, кто внимательно изучаетъ ее по воспоминаніямъ героевъ фронта—тотъ не долженъ пройти мимо этой маленькой книжки вдумчивыхъ женскихъ разсказовъ о томъ, какъ жилъ во время войны ея ближайшій тылъ—тылъ, такъ близко прикоснувшійся къ смерти и ранамъ, гдѣ свѣтъ почти непрерывно заслонялся тѣнью...

M. Kpainots

12/25 января 1929 г. дер. Сантени, Франція.

"Онъ".

Люсь пять льтъ.

Она — единственная дочь, единственный ребенокъ, баловень всъхъ домашнихъ и знакомыхъ.

Люся—умненькая и развитая не по льтамъ.

Она знаетъ, что ея папа на войнъ. враги-нъмцы. Часто приходятъ отъ папы письма, въ конвертахъ съ лиловымъ штемпелемъ, на которомъ значатся еще не совсъмъ понятныя Люсъ слова "дъйствующая армія". Люся умъетъ читать и очень гордится тъмъ, что можетъ писать отдъльныя фоазы. Когда мама пишеть письма отцу, Люся тоже вкладываеть туда листочекь почтовой бумаги съ красивыми цвъточками, на которомъ выводить, подъ диктовку матери, каракулями "привътъ папъ". Мама иногда сердится, когда Люся сбивается, ставить печатныя буквы. Но Люсь писать по печатному легче...

Въ залъ висятъ два большихъ портрета въ золотыхъ рамахъ, съ короной наверху. Люся отлично знаетъ, чьи это поотреты. Она тянулась золотымъ рамамъ совсъмъ еще малюткой. Когда Люсю взрослые спрашиваютъ снисходительно: — Люся, кто это? — она всегда отвъ-

титъ: "Онъ", хотя знаетъ, какъ Его зовутъ. Но въ словъ "Онъ" заключается для Люси что-то таинственное, похожее на то, что чудится ей въ непонятныхъ еще словахъ церковнаго богослуженія.

Аюся никогда не скажетъ: "Царь". Она знаетъ, что царей на свътъ много, ну а "Онъ"—одинъ. Потому что "Онъ"—ну, это "Онъ".

Однажды пришло короткое письмо отъ папы уже безъ лиловаго штемпеля. Мама очень плакала, прочитавъ его, потомъ сказала Люсѣ, что папа раненъ, и она ѣдетъ къ нему въ Москву. Люся ужасно огорчилась, что ее не берутъ. Мать на минутку заколебалась и долго совѣтовалась со старой няней, но все таки рѣшила оставить Люсю дома.

Въ ту же ночь мама уъхала.

Аюся хорошо могла представить себѣ раненаго папу. Онѣ съ мамой часто бывали въ лазаретахъ, гдѣ она раздавала солдатикамъ конфеты и папиросы. Они лежали въ кроватяхъ, такіе блѣдные, забинтованные. И за все благодарили.

— Вотъ и папа лежитъ такъ, съ повязкой на головъ — думала Люся, лежа долго-долго въ постелькъ съ открытыми глазами. Она стала плохо спать съ того времени, какъ уъхала мама. Няня

спала теперь здъсь же, на диванъ.

По вечерамъ Люся наблюдала, какъ старушка молилась, клала истово земные поклоны, согнувшись до земли, оставаясь такъ долго-долго.

Иногда ей казалось, что няня заснула, и тогда Люся сначала тихо, а потомъ громче окликала ее:

— Няня!

Старушка поднимала голову и, не оборачиваясь, ворчала:

— Молчи, баловница, не мъщай молиться!

А Люся лежала и думала:

— О чемъ такъ долго молится няня?

Одинъ разъ спросила:

— Няня, а ты молишься за "Него"?

Но няня, видно, не поняла вопроса, и разсвянно отвътила:
— За всъхъ, за всъхъ.

Люся проснулась на разсвъть отъ звонка. Стала звать няню, которая была туговата на одно ухо. Горничную, посль отъвзда папы на фронть, отпустили, прислуга спала за кухней и не могла слышать звонка. Няня проснулась не сразу. Долго возилась съ туфлями: не могла спросонья сразу попасть въ нихъ ногами. Потомъ, слышала Люся, никакъ не находила ключемъ замка... Наконецъ, хлопнула входная дверь. Кто-то вошелъ.

Начался сдавленный шопотъ. Послышались

всхлипыванья.

Въ одной рубашенкъ, босая, прокралась Люся къ дверямъ гостиной. Она не ошиблась: тамъ, у стола, въ шляпъ съ длинной черной вуалью - это больше всего поразило Люсю - сидъла мама, и плакала. А няня стояла передъ ней, и у нея было такое смъшное лицо. Люсино сердечко забилось предчувствіемъ чего то страшнаго, непонятнаго, неотвратимаго.
— Гдъ папа? — спросила она, подбъгая къ

вздрогнувшей отъ неожиданности матери.

— Папа на небъ, у Боженьки — отвътила няня, осъняя себя широкимъ крестомъ.

И заплакала.

— На небъ — проговорила дъвочка и задумалась.

Она знала, что, когда умираютъ хорошіе люди, они идутъ въ небо и больше не возвращаются. Но смерть не проходила еще такъ близко отъ нея и не заставляла ее задумываться.

— Значитъ, папа больше сюда не придетъ? —

сказала Люся.

— Не придетъ... никогда, - отвътила мама и

зарыдала.

Люся удивлялась, почему мама и няня плачутъ. Бъдь папа у Боженьки, значитъ – папъ хорошо.

Что папъ хорошс-въ этомъ Люся не сомнъвалась. Въдь онъ на небъ, съ ангелами и тамъ нътъ нъмцевъ. Злые люди, говоритъ няня, на небо не пойдутъ, а нъмцы, въдь, злые.

Сначала Люся заговаривала съ мамой объ отцъ, но мама всегда начинала плакать. Люся, хотя и не понимала причины, но все же догадалась, что лучше о папъ не говорить. Сама за полгода его отсутствія она привыкла-какъ легко привыкаютъ дъти-къ разлукъ съ нимъ и начала какъ-то даже о немъ забывать.

Мама стала прихварывать, часто не вставала даже цълый день съ постели и выходила съ Люсей гулять только въ солнечные дни. Онъ всегда шли къ морю въ одно и то же мъсто, къ одной и той же скамейкъ... Мама садилась на скамейку и раскрывала книгу, а Люся бъжала къ водъ, искала янтарь и розовыя раковинки и вела одной ей понятные разговоры съ синими морскими волнами, плескавшимися о песокъ.

И часто, возвращаясь съ полной горсточкой нъжно-розовыхъ ракушекъ, заставала маму со слезами на глазахъ.

И тогда она знала: мама думала объ отцъ.

Мать лежала въ постели съ полузакрытыми глазами. Въ комнатъ, какъ теперь часто, была приспущена штора. И Люся ворвалась въ нее, какъ свътлый лучъ.

— "Онъ" ѣдетъ! — кричала она радостно — "Онъ" ѣдетъ, мамочка! — Кто?—не поняла мать.

- Ну, "Онъ"... какая ты, мама, непонятливая!.. "Онъ" прівдетъ, сказала няня, завтра рано утромъ... Вездв ввшаютъ флаги .. Цввты... А въ окнахъ всюду—"Его" портреты... Ахъ, какъ это красиво! По нашей улицв "Онъ" тоже провдетъ. Мамочка, позволь, я украшу окна гостиной, да? Мы пойдемъ съ няней на рынокъ, купимъ цввтовъ. Позволишь, мамочка?
- Да, да можешь... отвъчала мать, гладя ея золотистые волосенки.

Ея сердце не билось горячей радостью, какъ три года назадъ, когда она видъла "Его" въ столицъ. Слишкомъ велика была тяжелая эго-истическая боль, переполнявшая все ея сердце, и не было въ немъ мъста другому широкому чувству.

Возбужденная, неспокойная, Люся не могла долго заснуть. Она все думала о томъ, посмотритъ ли "Онъ" на ея, Люсины, окна. Они, дъйствительно, были очень красивы. Даже мама встала съ постели, и помогала дъвочкъ разставлять цвъты вокругъ портретовъ, снятыхъ со стъны. Няня наскоро сшила два новенькихъ флага.

Внизу, въ первомъ этажѣ, была какая-то контора, которая ограничилась тѣмъ, что поставила въ одномъ изъ оконъ царскіе бюсты, задрапировавъ другія матеріей національныхъ цвѣтовъ. Во второмъ этажѣ другая квартира стояла пустой, въ третьемъ жила какая-то старая нѣмка, которая не умѣла или не хотѣла украшать оконъ. И Люсины два царили надъ всѣмъ домомъ. Даже напротивъ ни у кого не было такъ красиво.

"Онъ" долженъ былъ провхать въ одиннадцать часовъ утра, но Люся забралась на окно чуть ли не съ восьми. И какао свое пить не захотвла Люся.

Съ ранняго утра потянулась по залитымъ

осеннимъ солнцемъ улицамъ нарядная публика. Дамы одъты, какъ на Пасху, въ свътлыхъ платьяхъ, съ цвътами. Много ихъ еще цвъло ранней осенью въ садахъ, — пышныя астры, яркія геор-гины, и настурціи, настурціи, настурціи.

Къ десяти часамъ стали приходить партіями гимназисты и гимназистки. Въ бълыхъ накрахмаленныхъ фартучкахъ, въ чисто вычищенныхъ курточкахъ и мундирахъ. Суетились наоядныя учительницы, разставляя дъвочекъ, рядами, по росту. Учителя, въ орденахъ, съ торжественными лицами, выравнивали гимназистовъ. У дъвочекъ были въ рукахъ цвъты. Нъкоторыя гимназіи слъдили за тъмъ, чтобы у всъхъ были одинаковые. Больше всего было астръ — бълыхъ, лиловыхъ, оозовыхъ.

— Зачъмъ у нихъ цвъты? – спрашивала въ

сотый разъ дъвочка.

— Онъ будутъ бросать на улицу, когда "Онъ" провдетъ — отввчала мать, разсвянными глазами глядя на шумную, волнующуюся, празд-

ничную толпу.

И вотъ, какъ далекое эхо, прокатилось вдали мощное "ура". Вздрогнула, рванулась впередъ толпа, сдерживаемая цъпью стоявшихъ впереди учениковъ. Дъвочки нервно оправляли прически, одергивали другъ у друга фартуки. Учителя взволнованнымъ шопотомъ отдавали послъднія приказанія. Замолкъ шумный говоръ. Волнующее ожиданіе овладьло тысячной толпой. А "ура" грохотало все ближе и ближе.

И вотъ показались автомобили. Первый проъхалъ очень быстро; въ немъ, какъ показалось Люсь, сидьль не то военный, не то полицейскій съ съдыми усами. Другіе автомобили шли ленно. Двое военныхъ въ походной формъ сидъли во второмъ. И Люся сразу узнала, который изъ нихъ "Онъ". Знала хорошо по портрету. "Онъ" смотрѣлъ на толпу и привѣтливо улыбался своей грустной ласковой улыбкой.

Могучими волнами катилось по рядамъ "ура". Медленно шелъ по усыпанной цвътами улицъ цар-скій автомобиль. И всъ видъли только Его...

— Мамочка, "Онъ" не смотритъ на окно!. въ отчаяніи закричала дъвочка, и, осъненная внезапной мыслью, сорвала и бросила внизъ три пышныхъ ослъпительно-бълыхъ розы

Онъ упали внизъ, подъ тяжелыя колеса автомобиля, туда, гдв лежали остальные цввты. Но, можетъ быть, "Онъ" замътилъ, что цвъты брошены сверху — поднялъ голову, скользнулъ взглядомъ по украшенному окну—и улыбнулся...
— Мама, "Онъ" смотрълъ въ окно! "Онъ"

улыбался! "Онъ" эналъ, что это я сдълала для "Него"! — ликовала дъвочка, глядя вслъдъ удалявшемуся мотору.

— Ахъ ты, моя маленькая патріотка! — тихо говорила мать, приникнувъ губами къ золотистымъ волосамъ.

Странно-и такъ сладко-билось въ груди ея сердце. Жгучая боль разлуки ушла куда-то далеко, уступивъ мъсто волнующему радостному чувству. Тому чувству, что овладьло всей тысячной толпой, съ воодушевленнымъ пън емъ овавшейся прорвать цъпь почетной охраны, чтобы устремиться за "Нимъ", чгобы еще разъ видъть "Его" лицо, "Его" свътлую улыбку...
— Милая дъвочка,—думала, перебирая золо-

тистыя кудояшки мать—на всю жизнь останется у тебя въ памяти эта улыбка. Вырастешь большая, лишишься свътлыхъ грезъ дътства... А эти дни не изгладятся изъ твоей памяти... Никогда не забыть тебъ этого праздника, этого народнаго порыва.

И этой кооткой, ясной улыбки...

Русскій флагъ.

Жизнь въ городкъ Р. протекала, несмотря на великія событія, мирно и спокойно. Газеты въ городъ не было. Телеграммы получались съ опозданіемъ.

Русскихъ во всемъ городкѣ было всего десять человѣкъ, но во главѣ ихъ стоялъ молодой, дѣльный священникъ. Соединившись съ латышскимъ пѣвческимъ обществомъ, эти русскіе оборудовали лазаретъ на десять кроватей. Въ началѣ октября прибыли первые раненые. Эти девять блѣдныхъ, измученныхъ страданіями солдатъ внесли новую струю въ сонную жизнь городка. Сначала лазаретъ былъ переполненъ съ утра до вечера добросердечными крестьянками, приносившими яйца и молоко, учащейся молодежью и праздными барышнями.

Но постепенно порывъ остылъ.

Хозяйки жили, по-прежнему, рынкомъ, дѣтской и кухней. Барышни шили бѣлье и мечтали о пріѣздѣ раненыхъ офицеровъ. Отцы семействъ учились у своихъ дѣтей русскому языку. А по вечерамъ, за бутылкой оранжевой воды, вели безконечные политическіе и стратегическіе разговоры.

Къ войнъ привыкли, перестали ее замъчать.

И вдругъ—совершенно неожиданно — пронеслась крылатая въсть, что непріятель близко. Туманнымъ апръльскимъ вечеромъ прибыли первые бъженцы — усадьбовладъльцы, крестьяне

недалекихъ усадебъ. Недавняя буря попортила телеграфные провода и эрцы совсъмъ не знали о вступленіи непріятеля въ Курляндію.

Въ городъ поднялась суматоха. Несмотря на одиннадцать часовъ вечера, время, въ которое почтенные эрцы видъли обычно третій сонъ, многіе бросились на почтовую станцію разбирать лошадей. Жельзная дорога до Р. была уже третій годъ въ проекть. Женщины, охая и плача, стали укладывать вещи. Владъльцы собственныхъ экипажей съ сосредоточеннымъ видомъ задавали кормъ лошадямъ. Никогда еще, кажется, за всъ четыреста лътъ его существованія, не было въ городкъ такой безпокойной ночи. До утра былъ свътъ во всъхъ окнахъ. Когда ранній весенній разсвътъ заглянулъ въ городишко, по большой Митавской дорогъ потянулись безконечные экипажи, тельги и толпы пъшеходовъ.

А съ южной стороны наводняли городъ новыя толпы бъженцевъ. Утомленные, не спавшіе, измученные, они не смъли отдохнуть, и, томимые паническимъ ужасомъ, убъгали передъ безпощадной лавиной вражескихъ полчищъ. Плакали дъти, успокаиваемыя испуганными женщинами; ржали лошади. Съ мрачнымъ видомъ шагали за своими телъгами крестьяне-латыши.

— Не хотимъ рыть нѣмцамъ окопы!—угрюмо отвѣчали они, когда ихъ спрашивали, зачѣмъ они бросаютъ свои пепелища.

Интеллигенція городка—нъмцы—осталась на мъстъ, съ философскимъ спокойствіемъ ожидая, во что выльются событія. Латышское и русское населеніе покинуло городъ и онъ наполовину опустълъ.

Открытыя окна, незапертыя двери, забытыя на улицахъ вещи и наглухо запертыя лавки. Ясный апръльскій день сіялъ яркими красками.

Голубѣло небо. Кротко улыбалось солнце. Откуда-то сыпались трели жаворонка.

Но на всемъ лежала печать жуткаго ожиданія чего-то неопредъленнаго, страшнаго, неизбъжнаго...

Въ посавднемъ домикъ, стоявшемъ въ густомъ—пока еще прозрачномъ—саду, за которымъ начинались поля, лежалъ въ убогой каморкъ мальчикъ лътъ девяти. Мать его, бъдная швейка, не имъла средствъ, чтобы нанять лошадей, а пъшкомъ итти мальчикъ не могъ: у него третій мъсяцъ болъли ноги.

 Кто тронетъ больного мальчика? – думала она, но страшныя черныя мысли все же лъзли въ голову.

Мальчикъ лежалъ, повернувшись къ окну и смотрълъ на дорогу, по которой шли все новыя и новыя толпы бъженцевъ. Мальчикъ смотрълъ на дорогу, и—ждалъ нъмцевъ. Врядъли во всемъ городъ ждалъ еще прихода непріятеля кто-нибудь съ такой жадностью, какъ этотъ больной ребенокъ. Да, онъ ждалъ ихъ, какъ солдатъ ждетъ первой встръчи съ врагомъ въ чистомъ полъ. И въ душъ ребенка пылалъ боевой восторгъ... Всю свою бользнь, лежа цълыми днями, онъ мечталъ о нъмцахъ. Мечталъ о томъ, какъ выздоровъетъ и пойдетъ добровольцемъ на войну, подобно сотнямъ другихъ мальчиковъ, убъгающихъ на театръ военныхъ дъйствій со всъхъ концовъ необъятной Россіи.

Мысль о подвигь, который надлежить ему совершить, стала у бользненнаго мальчика навязчивой идеей... А съ тъхъ поръ, какъ вчера вечеромъ узналъ онъ, что нъмцы идутъ въ Р., его охватило мучительное нетерпъніе. Больной, прикованный къ постели, онъ ждалъ какого-то

чуда. Ему казалось что онъ встанетъ съ кровати и соверщитъ сразу что-то великое... Славное...

— Мама, что говорила женщина, которая

приходила на кухню?

— Многое... Какъ они бъжали, какъ пришли нъмцы...

—Были съ ними нѣмцы жестоки?— допыты-

вался мальчикъ.

— Нътъ, ихъ не трогали... Торопились проходить дальше... Только станцію подожгли, да разграбили въ жельзнодорожныхъ кладовыхъ товары. Тамъ были, между прочимъ, ящики съ конфетами. Они насовали себъ полные карманы, ъли сами и раздавали встръчнымъ дътямъ. Женщина разсказывала, какъ ея пятилътній малышъ отказался отъ шеколада. "Не возьму отъ нъмца". Такой упрямый — только разсердилъ господина офицера. Тотъ подумалъ: мать подучила. А малышь этоть оть себя. Упрямець такой...

— Онъ не упрямый, мамочка, онъ—герой! мечтательно произнесъ мальчикъ, устремивъ снова взоръ въ окно. На дорогъ, теперь уже пустынной, показалось какое то темное пятно, привлекшее живое вниманіе Саши. Пятно приближалось

и росло.

. — Мама, нъмцы!

Голосъ мальчика прерывался отъ волненія. Зоркіе глаза его различили всадниковъ еще на большемъ разстояніи. Саша кръпко сжалъ руку своей поблъднъвшей матери. Оба молча смотръли въ окно, на приближавшійся германскій отоядъ.

— Запру... дверь... въдь мы въ домъ одни... Мать вышла изъ комнаты. Больной приподнялся на постели. Какая то неотвязная мысль засъла въ его головъ. Оглядываясь на дверь, спустиль онъ съ кровати свои тоненькія непослушныя ноги и, держась за столь, стулья и

сундукъ, дополэъ до шкафа. Открылъ его. Досталъ небольшой національный флагъ — дѣтскій, игрушечный... И, съ трудомъ добравшись до большого фикуса, стоявшаго у окна, прислонилъ его... Чтобы былъ виденъ издали!

Нъмецкіе разъъзды разсыпались по всему городу, но никто изъ нихъ не замътилъ наивной

демонстраціи маленькаго патріота...

Вечеромъ у Саши былъ жаръ. Онъ метался по постели и бредилъ нѣмцами. А мать, сидя у изголовья, и цѣлуя горячій, какъ огонь, лобикъ мальчика, шептала:

— Ґлупенькій, славный мой маленькій патріотъ! Всталъ на свои больныя ножки! Милый

мой!

Черной волной разливалась темнота апрѣльской ненастной ночи, а въ этой теплой, ласкающей тьмѣ подходили съ запада, скрытыя еще многоверстнымъ сосновымъ боромъ,—подходили русскія войска....

Колькинъ подвигъ.

Кольку Кудряваго знали въ городъ ръши-тельно всъ. Это былъ худощавый мальчикъ лътъ двънадцати, оборванный, грязный, босой, съ черными, выощимися волосами и голубыми глазами, смотръвшими довърчиво и привътливо. Онъ не былъ нищимъ въ настоящемъ смыслъ этого слова, онъ не любилъ просить, а если и просилъ — то только одними глазами. Но взглядъ этихъ лучистыхъ глазъ былъ такъ требователенъ, что ръдко кто могъ отказать голодному мальчику.

Зимой и осенью Колька работалъ. То его

видѣли на льду, помогающаго расчищать дорожки, то онъ возилъ елки, то пилилъ на дровяномъ дворѣ толстыя полѣнья. Осенью снималъ яблоки, свозилъ сухую листву. За что ни брался Колька все онъ дълалъ серьезно, аккуратно и хорошо. Онъ не былъ лънивъ, но въ характеръ его была неуживчивость, страсть къ бродяжничеству. Можетъ быть, въ немъ была цыганская кровь. Родителей его не зналъ никто. Не здъсь родился Колька, и

откуда появился онъ—не знали. Зимой и осенью онъ жилъ полукультурной жизнью мелкаго городишки. Но лишь только на-

жизнью мелкаго городишки. По лишь только начинали пригръвать первые весенніе лучи, его нестерпимо тянуло на волю, и, какъ бы хорошо ни жилось ему, онъ все бросаль— и уходиль.

Однажды Колькъ улыбнулось счастье. Онъ очень приглянулся прівзжей бездътной купчихъ. Та уговорила его ъхать съ ней и увезла съ собой въ Москву. Увезли его въ концъ ноября, а въ

іюль онъ снова показался на улицахъ, такой же гоязный, нечесанный. Только платье на немъ было цѣлое и на ногахъ хорошіе сапоги.
—Что же, Колька, прогнала тебя купчиха, что-

ли?-спрашивали его.

—He...я самъ убъгъ... Скушно тамъ...

—Какъ же ты вернулся? Неужели пъшкомъ? —А то какъ же? На чугунку безъ денегъ не

пущаютъ... Пробовалъ...

Единственное, что вынесъ Колька изъ пребыванія у купчихи—это грамота. Сначала ему доставляло удовольствіе читать давно знакомыя по виду вывъски съ большими чайниками, краснолицыми господами и дамами съ чудными прическами, традиціонной сахарной головой, глазастымъ сыромъ и селедкой. Но потомъ онъ выучилъ ихъ наизусть и больше грамотой не интересовался. Книгъ онъ не читаль и сталь, мало по малу, забывать все чему выучился въ Москвъ.

Провзжія дамы часто обращали вниманіе на красиваго мальчика, восторгались его глазами и подзывали къ себъ. Но онъ избъгалъ ихъ, очевидно, опасаясь, чтобы его снова не увезли. Жизнь въ комнатъ казалась для него ужаснъе всего. Еще зимой, когда на дворъ морозъ— пожа-

луй. Но льтомъ-ни за что.

Съ каждой весною онъ, какъ перелетная птица, исчезалъ изъ города и пропадалъ по недълямъ, а иногда и на все лъто. Гдъ онъ бывалъ, чъмъ занимался, чъмъ питался—знаетъ Одинъ Богъ...

На вопросъ: "Гдѣ ты былъ?"—Колька неиз-мѣнно отвѣчалъ: "Въ лѣсу". А когда его спраши-вали: "Что ты ѣлъ?" — слѣдовалъ отвѣтъ: "А что поидется".

Его неудержимо тянуло вълъсъ, гдъ не слышно человъческаго шума, въ поле, гдъ теплъе гръютъ солнечные лучи, къ журчащей въ тростникахъ овчкв. У него была тамъ какая то своя жизнь, о которой онъ никому не говорилъ, да и врядъ ли могъ бы разсказать на своемъ языкъ. Жизнь, которая отражалась только подчасъ въ его голубыхъ наивныхъ глазахъ...

Да поэдней осени скитался онъ за городомъ. И только, когда холоднъй и длиннъй становились туманныя ночи, и подъ утро хрустъла промерэшая за ночь земля, обнаженныя деревья съ сухимъ трескомъ отряхали желтые листья —возвращался Колька совсъмъ въ городъ, загорълый, растрепанный и довольный.

—Холода наступають—Колька пришель!—говорили, улыбаясь, горожане.

Знойное лѣто было въ самомъ разгарѣ, когда покой Колькинаго лѣса былъ нарушенъ топотомъ многихъ ногъ и грохотомъ обозныхъ телѣгъ,— черезъ лѣсъ шли солдаты. Цѣлый почти день шли они, а на утро проходили съ небольшими перерывами новыя массы, оглашая тихій лѣсной воздухъ протяжными звуками русской пѣсни. Топали лошади, тянулись обозы, громыхали пушки.

Аюбопытно прислушивался къ солдатскимъ разговорамъ Колька. Изъ нихъ узналъ онъ, что "ерманецъ затъялъ войну и идетъ на Рассею". Онъ долго добивался узнать, каковъ этотъ "ерманецъ". Когда же ему объяснили, что "ерманцы" это тъже нъмцы, какихъ немало жило въ ихъ городкъ, Колька очень удивился и долго не хотълъ въритъ. Только понемногу улеглось въ его мозгу новое понятіе, и онъ сталъ съ глубокимъ презръніемъ смотръть на проходившихъ нъмцевъ, бормоча подслушанное имъ у солдатъ:

— Ерманцы... Вильгельмы-шельмы!...

Съ солдатами онъ бесъдовалъ охотно, раз-

спрашивая о всъхъ подробностяхъ боевой жизни. Часто далеко провожалъ ихъ по лъсу.

-Идемъ съ нами, малецъ!-шутили они.

—Ну и пойду—отвъчалъ онъ, глядя на какой нибудь листъ, дрожавшій въ вышинъ. И пошелъ. Какъ ушли многіе мальчики—

И пошелъ. Какъ ушли многіе мальчики — просто присталъ къ полку и ушелъ съ нимъ къ границъ.

Но къ веснъ вернулся назадъ.

- Что, прогнали тебя солдаты?
- Не... я ушелъ самъ.
- Почему же?
- Слушаться очинно надо... А я не хочу. Самъ знаю, что дѣлать...
- Ишь!—говорили товарищи.— А ерманца видаль?
 - Видалъ.
 - Ну, какой онъ?
 - Какой... Обнаковенный...
 - И дрался съ нимъ?
 - Не, я не дрался... я патроны подносилъ.
 - И какъ пушки стръляютъ, слышалъ?
 - Слышалъ.
 - Страшно небось?
 - Hea... не страшно... Вродъ, какъ громъ...
- Ну... говорили только товарищи и замолкали, втайнъ завидуя.

Подошла и Пасха—ранняя и холодная. На шестой недълъ Поста появилось въ городъ много солдатъ, но они проходили черезъ городъ, не отдыхая, спъша куда то на востокъ. Въ городъ остался небольшой гарнизонъ.

Въ Вербное воскресенье населеніе города было охвачено необычайнымъ волненіемъ: пошли слухи, что близко врагъ. И хотя на Страстной

никакого непріятеля въ городъ не показывалось, -- смутное безпокойство не покидало жителей.

Предчувствіе оправдалось: нѣмцы выросли, какъ изъ подъ земли, въ самую Великую Пятницу. Немногіе защитники города были перебиты и побѣдители стали хозяевами городишки.

Сърымъ грустнымъ разсвътомъ занималась Великая Суббота. Жители не ръшались выходить изъ домовъ. Купцы не хотъли открывать лавокъ. Въ церквахъ робко звонили къ утренъ.

На самой заръ вышель въ поле Колька Ку-

дрявый.

— Куда, Коля? — окликнула его лавочница, открывавшая ставни своей кухни—иди лучше къ намъ, право... Ерманецъ не любитъ, когда такъ шатаются. Хотя ты еще дите... но все таки...

Но Колька тряхнулъ головой, и, плюнувъ съ презръніемъ, произнесъ:

— А ну ихъ, ерманцевъ...

И его фигура скоро скрылась въ утреннемъ туманъ...

Приближался вечеръ. Жители перешептывались, подолгу останавливаясь около расклеенныхъ объявленій — на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ — въ которыхъ запрещалось жителямъ выходить на улицу послѣ девяти часовъ вечера. Объявленія были расклеены около пяти.

Наконецъ, старый священникъ, ксендзъ и городской голова направились къ ратушѣ, гдѣ остановился начальникъ отряда. Ихъ долго продержали у коменданта. Когда вышли, лица у всѣхъ были печальныя.

— Не позволяютъ—сказалъ, вздохнувъ, священникъ—ни за что... — Въ такую то ночь!.. Праздника Христова не встрътить!.. Крестнымъ ходомъ не пойти — волновался народъ.

А вечеръ подходилъ все ближе и ближе.

Уже погасли послъдніе дневные лучи и надъ уснувшимъ въ глубокомъ мракъ городомъ загорълась тысячью огнями безлунная ночь... Горожане затеплили свъчи передъ образами и стали ждать полуночи, чтобы хоть у себя дома, въ кругу родныхъ, пропъть "Христосъ воскресе"...

И вдругъ—какъ труба Архангела—надъ беззаботными нъмцами прогремъло грозное "ура".

Недологъ быль бой. Усталые или пьяные нъмцы не выдержали дружнаго натиска нашихъ стрълковъ. Частью были перебиты, частью сдались въ плънъ.

И ровно въ полночь побъдно и мощно раскатился надъ освобожденнымъ городомъ Пасхальный перезвонъ. Торжественно выходилъ крестный ходъ изъ храма, переполненнаго народомъ.

Застънчиво жался на паперти Колька. Онъ не понималъ, почему сегодня какъ то уступаютъ ему дорогу, жмутъ руку, подходятъ и подробно распрашиваютъ, какъ онъ нашелъ и привелъ солдатъ. Даже самъ офицеръ похлопалъ его по плечу, и назвалъ "молодцомъ" и "героемъ". И нъсколько человъкъ — изъ самыхъ богатыхъ купцовъ — сказали Колькъ, чтобы онъ приходилъ послъ объдни разговляться.

Необычайно торжественно отошла въ этомъ году заутреня и "Христосъ воскресе" звучало такъ радостно и полно, какъ не звучало еще, кажется, никогда подъ сводами старенькаго храма.

Съдой батюшка въ было серебряной ризъ

вышелъ съ крестомъ и сталъ дрожащимъ отъ волненія голосомъ говорить о чудесномъ избавленіи города, о томъ, какъ милостивъ Господь, давшій имъ съ легкимъ сердцемъ встрѣтить Великій Праздникъ. Закончилъ онъ евангельскимъ словомъ: "Изъ устъ младенцевъ и ссущихъ совершилъ еси хвалу"...
И снова всѣ посмотрѣли на Кольку. А онъ,

И снова всѣ посмотрѣли на Кольку. А онъ, недовольный и смущенный общимъ вниманіемъ, все оглядывался, какъ бы ища случая незамѣтно

выбраться изть церкви.

Колька не хотвлъ итти разговляться ни къ кому изъ горожанъ, предпочитая остаться съ своими пріятелями—солдатами. И такъ какъ выбраться изъ церкви было сейчасъ трудно (въ этомъ году ръдко кто ушелъ послъ заутрени), Колька прижался въ уголокъ, да такъ и остался до конца объдни, уставившись своими голубыми глазами на образъ Спасителя, въ стеклъ котораго отражались пестрые лампадные огоньки.

Понималь ли онъ, что совершиль подвигъ? Зналь ли что, только, благодаря тому, что онъ разыскаль и привель ближайшими, извъстными ему лъсными тропинками солдать, жители могли

встрътить Свътлый праздникъ во храмъ.

Врядъ ли...

Никакого отвъта на это нель зя было прочесть въ ясныхъ очахъ мальчика. Въ нихъ свътилась какая то дътская безотчетная радость и весенняя надежда. Надежда на то, что скоро стаютъ послъдніе снъга и станетъ тепло, прилетятъ жаворонки, — и онъ уйдетъ въ свои лъса, поля и просторные луга.

Ну, а ерманцы?

Ерманцевъ прогонятъ, какъ прогнали и сегодня!..

Арестантъ Ивановъ.

Съдой арестантъ поднялся съ наръ и подошелъ къ маленькому, дававшему скудный свътъ окошечку. До него было высоко, но, вставъ на нары и ухватившись рукой за желъзные прутья, арестантъ могъ достать до него головой. Гдъ то въ городъ былъ гулъ голосовъ. Ка-

залось, что по улицамъ шло и спъшило куда то съ криками множество народу.

— Ивановъ! — окликнули его изъ нижняго

— Здъсь! — отвътиль съдой арестанть. — Что тамъ такое?

— Нъмцы пришли! — торжествующе отвъ-

тили снизу.

— Чему же ты радуешься, Шибковъ?—спро-силъ Ивановъ и странное чувство на мигъ овладъло его душой.

Уже четыре мъсяца прошло съ тъхъ поръ, какъ въ мрачныя стъны тюрьмы проникли первые слухи о войнъ. Сначала, въ первые дни, оттуда, съ улицы, долетали радостные крики, пъніе гимна, громкое раскатистое "ура". Какое ему, Иванову, было дъло до этой радости, до войны—вообще до всей жизни, которая течетъ внъ этихъ стънъ? Его жизнь—въ этой мрачной одиночной камеръ, а въ будущемъ — другая тюрьма, другая камера съ ръшетчатымъ окномъ, а далъе—каторжныя работы. На много, много

Уже семь мъсяцевъ прошло съ тъхъ поръ,

какъ закрылись за Ивановымъ стъны тюрьмы. Развъ только семь мъсяцевъ, а не семь лътъ?

Да нать, семь вачностей прошло съ того дня!...
Слухи о война и патріотическомъ подъема всколыхнули даже мертвую трясину тюрьмы. Читались телеграммы, велись безконечные стратегическіе споры. Арестанты работали на воиновъ. Ивановъ не принималъ участія ни въ разговорахъ, ни въ работахъ. Тогда онъ нахо-дился еще въ общей камеръ, его перевели въ одиночную съ мъсяцъ тому назадъ.

Четыре мъсяца прошло съ начала войны. И первый разъ за эти четыре мъсяца всколыхну-лось что то новое въ груди арестанта.

— Чему же ты радуешься, Шибковъ?—повторилъ свой вопросъ Ивановъ.

— Дуракъ - теперь же легко освободиться! Начальства нътъ, сторожа куда то разбъжались. Теперь можно шумъть — никто не услышить. Я давно замътиль, что одинъ прутъ ръшетки держится не совсъмъ кръпко. Попытаюсь выломать.

Ивановъ машинально попробоваль всѣ прутья на своемъ окнѣ. Но они сидѣли всѣ плотно...

Начинало смеркаться. За окномъ было еще свътло, но въ углахъ камеры стали сгущаться ткни

Ивановъ боялся темноты. Дни еще были сносны, но страшны и жутки бывали черныя ночи, когда изъ каждаго угла выползали тъни его поеступленія.

Какъ это случилось?

Въдь почти всю жизнь-до пятидесяти лътъ — Ивановъ прожилъ такъ, какъ всъ: работалъ и пилъ; отдыхалъ — и снова работалъ и пилъ. И. какъ тысячи ему подобныхъ Ивановыхъ, проклиналъ свою жизнь и свой трудъ.

Пилъ и проклиналъ—и, чъмъ больше пилъ— тъмъ больше проклиналъ. И наконецъ, допился до той точки, за которой начинается черная бездна.

Давно уже въ умѣ его мелькала страшная мысль, но въ неясной, неосязательной формѣ. Особенно это случалось въ тв дни, когда онъ приходилъ въ дорогую, но сильно запущенную квартиру хозяина, принося ему деньги отъ жильцовъ. Хозяинъ цъпкими пальцами пересчитывалъ рубли и ръдкія золотыя монеты, и ругался послъдними словами, если кто нибудь изъ подвальныхъ жильцовъ присылаль только часть, прося подождать съ остальнымъ, а то и со всъми деньгами нъсколько дней...Хозяинъ ругался и смъшно бъгалъ по комнать, такъ что развъвались фалды его долгополаго-какъ носятъ еще въ городкахъ Польши евреи-сюртука. А дворникъ стоялъ передъ нимъ и думалъ о томъ, что завтра же, по приказанію хозяина, вынесетъ на дворъ изъ какой нибудь квартиры жалкую мебель. Дъти будутъ кричать, женщины причитать, вытирая фартукомъ слезы... А мебель-мокнуть на осеннемъ дождъ... Такія сцены повторялись часто - чуть ли не каждый мъсяцъ.

Ивановъ втайнѣ жалѣлъ бѣдняковъ, которые осыпали его бранью или умоляли повременить вытаскивать мебель... Но хозяинъ приказалъ...Хозяинъ платилъ ему жалованье. Каморка его была теплая и чистая ...Работы не слишкомъ много... Впрочемъ въ душѣ Ивановъ ожесточался все больше и больше. Больше пилъ и проклиналъ свою жизнь. И особенно—вотъ такихъ богатыхъ и жадныхъ, какъ его хозяинъ.

Ночной сторожъ шепнулъ Назвалъ-

именемъ то, что давно копошилось въ душѣ Иванова—на самомъ, самомъ ея днѣ...

И съ каждымъ днемъ мысль эта стала терять часть своего ужаса. Съ каждымъ днемъ таяли нравственныя препятствія.

Й вотъ наступила ночь...

Все было, какъ сонъ. Пьянъ онъ былъ, очень пьянъ.

Вспоминаются только деньги — цълыя горы бумажекъ и золотыхъ монетъ, которыя годами копились въ сундучкъ подъ кроватью.

Когда Иванова арестовали въ кабакъ, онъ сознался во всемъ, разсказалъ, какія помнилъ, подробности преступленія. Сообщника его не

поймали: умнъе былъ.

Здѣсь, въ тюрьмѣ, въ темныя ночи, стала яснѣй вспоминаться картина. Но опять таки, какъ сонъ... И то, что безпокоило душу, было гдѣ то глубоко. Но больше, чѣмъ безпокойства совѣсти— было страха. Мучительнаго, животнаго страха—отъ котораго хотѣлось забиться въ самый дальній уголъ, прижаться къ полу лицомъ... Страха—увидѣть!

Равнодушно приняль Ивановъ въсть о пятнадцатилътней каторгъ. Онъ продолжаль жить

въ полусиъ.

Если бы только не одиночная камера! Если бы не эти ужасныя ночи! Слышать человъческій голосъ, видъть людей!

По корридору раздались глухіе шаги. Кто то гремьль замками. Жуткое напряженіе овладьло арестантомь. Наконець, щелкнуль засовь и у его двери и на порогь показался солдать въ незнакомой формь.

— Нъмецъ! — сразу ръшилъ Ивановъ. Солдатъ пригласилъ его жестомъ слъдовать за собой.

Въ просторной пріемной находилось уже много арестантовъ. Тамъ же было нъсколько германскихъ солдатъ и офицеръ. Послъдній обратился къ арестантамъ съ ръчью. Говорилъ онъ по русски плохо и неправильно, постоянно вставляя нъмецкія слова. Но главное Ивановъ поняль: ихъ отпускаютъ на свободу! Понялъ еще, что ждутъ отъ нихъ благодарности и какой то услуги. Ивановъ больше не слушалъ. Всъ мысли его сосредоточились на моментъ, когда ихъ выпустятъ на улицу.

Когда было позволено идти, арестанты бросились къ дверямъ, толкая другъ друга. У всъхъ

была одна и та же мысль:

— А вдругъ еще передумаютъ? Холодный воздухъ непривычно охватилъ Иванова. Онъ остановился на перекресткъ. Всъ остальные арестанты свернули на большую улицу. Здѣсь, на углу, остался онъ одинъ. Кругомъ было совсѣмъ темно. Фонари не горѣли. Ни изъ одного окна не струилось луча свѣта. Мракъ и тишина царствовали повсюду. Только изрѣдка нарушало тишину ржанье лошадей и доносившійся откуда то хохотъ пьяныхъ.

Медленно шелъ Ивановъ по улицъ, еще не вполнъ понимая совершившагося факта.

Въдь онъ свободенъ!

Почему же не радуетъ его эта свобода, такъ неожиданно свалившаяся на него? Почему такая тяжесть давить его душу?

Ему вспомнились снова нъмцы, и, самъ не зная почему, онъ сказалъ громко:

— Нъмцы дураки!

Сказалъ — и самъ удивился.

На главной улиць во многихъ окнахъ былъ свътъ. Кое-гдъ они были открыты и оттуда доносился пьяный хохотъ. Мелькала форма германскихъ солдатъ. Изъ одного такого окна послышался от женскій визгъ, заглушенный пьянымъ смъхомъ.

— Черти! — равнодушно сказалъ Ивановъ. И побрелъ знакомой дорогой. Къ дому, гдъ прослужилъ дворникомъ восемь лѣтъ, гдѣ случилось "то"...

Мало народу попадалось по дорогъ. Развъ пьяные пруссаки, горланившіе пъсни, да какія то темныя фигуры, боязливо жавшіяся къ забо-

оамъ.

Въ темномъ узкомъ переулкъ споткнулся онъ о что то мягкое и холодное. Ивановъ съ ужасомъ ощупалъ подъ собой человъческую руку, еще чуть теплую, вскочилъ, и, не оглядываясь, пустился бъжать, томимый ужаснымъ представленіемъ... Очнулся онъ только, когда наткнулся на какую то женщину, съ визгомъ шарахнувшуюся отъ него въ сторону,

Ивановъ оглядълся.

Онъ находился въ бъднъйшемъ кварталъ города. Теперь онъ только замътилъ, что за ря-

города. Теперь онъ только замвтиль, что за рядомъ старыхъ домовъ полыхало зарево.

И жутко было видвть этотъ безмолвно разгоравшійся сввть, не сопровождаемый ни набатомъ, ни тягучимъ стономъ пожарной трубы.

Ивановъ направился на огонь. У двухъ горвышихъ домовъ суетилась небольшая кучка людей. Кое-кто выносилъ жалкую мебель, вродвтой, какую Ивановъ, будучи дворникомъ, выбрасывалъ на дворъ по распоряженію хозяина...

Другіе мрачно стояли поодаль.

— Пущай пропадаетъ!

Какіе то люди. ссооясь межлу собов вы-

Какіе то люди, ссорясь между собой, выносили товаръ изъ колоніальной лавки и тутъ же набивали себъ въ карманъ. Съ удивленіемъ

Ивановъ узналъ выпущенныхъ вмъсть съ нимъ арестантовъ.

— Что вы дълаете? -- крикнулъ онъ -- тушить

бы надо, а они грабять!
— Къ чорту! — отвътилъ Шибковъ — нъмцы позволили. Валяй братцы, вотъ бочка съ сельдями!

- Нъмцы вы что ли некрещеные воз-мутился Ивановъ совъсти въ васъ что ли нътъ?
- А у тебя то больно ея много! при общемъ смъхъ отвътилъ Шибковъ — мы то убивцы. А кто жида зарвзаль.
- Hy.... это не твоя печаль мрачно откликнулся Ивановъ-А такъ нельзя. Нешто мы не русскіе, что нъмцамъ въ руку играть будемъ, обижать своихъ? Побить бы ихъ, мерзавцевъ, надо, — вотъ было бы дъло! Чаво они тутъ ховяйничаютъ, здъсь Рассея, а не Нъмецкая земля.

— Върно! — пронеслось одобрительно

толпъ.

- Бей нъмцевъ, братцы! крикнулъ кто то неръшительно, но высокій рыжій еврей высунувшись изъ толпы, зашикалъ:
- Ой, будьте вы потише -- господа офицеры могуть услышать!

Предостережение было не лишнимъ. Къ толпъ подходили три офицера. Они поговорили между собой, указывая на горъвшій домъ, потомъ прошли равнодушно мимо.

Подошло нъсколько солдатъ.

- Нъмцевъ въ городъ немного сказалъ KTO TO.
 - Въстимо, немного—отвътили изъ толпы.
- И половина пьяные... Сколько казенокъ разгромили...

-Hv?

—Вотъ те и ну—самъ видѣлъ... На Питерской и на Большой...

Настроеніе у всьхъ было возбужденное.

Огонь охватываль теперь уже третій домъ. Пламя величественно разбъгалось по крышамъ. Жильцы ведрами носили воду изъ ближайшаго колодца. Толпа стояла въ оцъпенъніи. Никто не помогалъ. Но и грабежъ пріостановился.

Карапузикъ лѣтъ четырехъ выбѣжалъ изъ толпы и, смѣшно растопыривъ ножки, остановился

посреди улицы.

—Это солдаты, мама? — спрашивалъ онъ у красивой женщины, которая старалась его оття-

нуть, - нъмецкіе солдаты, да?

Мать схватила ребенка, но онъ вырвался и подбъжалъ къ одному изъ солдатъ, любопытно разглядывая его форму. Тотъ снисходительно погладилъ малыша по головъ. Потомъ наклонился къ матери и что-то прошепталъ ей на ухо.—Подлецъ!—пробормотала она, вся вспыхнувъ. Но, нисколько не обезкураженный ея отпоромъ, нъмецъ придвинулся къ ней ближе и грубовато обнялъ женщину. Она силилась освободиться. Нъмцы ухмылялись. Толпа выжидательно молчала. И что-то жуткое было въ молчаніи этой толпы,на глазахъ которой безнаказанно оскорбляли женщину.

Ребенокъ, испугавшійся сначала, теперь замахалъ на солдата рученками, и, заплакавъ, кри-

чалъ:

-Оставь мою маму... не трогай маму!

И, видя, что онъ безсиленъ, вцѣпился ногтями въ руку солдата, державшую женщину... Солдатъ вскрикнулъ отъ боли, и, какъ вещь, отшвырнулъ ребенка на мостовую. Мать закричала дикимъ голосомъ и бросилась къ упавшему ребенку. Онт лежалъ безъ движенія на камняхъ мостовой, изъ головки его сочилась струйка крови.

Мать голосила. Толпа стояла въ зловъщемъ молчаніи. Солдаты, испуганные неожиданнымъ исходомъ, повернулись, чтобы итти.

—Да что это—крикнуль очнувшійея первымъ Ивановъ— а мы терпъть будемъ? За что онъ дите то убилъ? Нъмчура проклятая!... Братцы, бей нъмцевъ!

— Бей нъмцевъ! — пронеслось зловъщимъ

эхо въ толпъ.

— Бей нъмцевъ! —откликнулся сонный го-

родъ.
Трещалъ огонь. Свистълъ, вырываясь клу-бами, дымъ. И , подъ дикіе крики толпы, совершался стоашный самосудъ.

Гообла теперь уже вся улица.

А толпа, съ ломами, дубинами, ухватами, топорами и молотками, опьянъвшая отъ крови, ходила по улицамъ, уничтожая захваченнаго воасплохъ малочисленнаго непріятеля.

Уже разсвътало, когда Ивановъ, усталый, опьяненный, присълъ на порогъ покинутаго дома. Руки его были въ крови-но не былъ страшенъ видъ этой крови. Въ душь его было чувство какого-то удовлетворенія, —чувство, найти которому названія онъ не могъ...

И было такъ легко, словно не было въ прошломъ той жуткой ночи и семи мъсяцевъ сы-

рой тюрьмы.

Въ душъ зоъли новыя силы. И въ очнувшемся отъ спячки мозгу сверлила одна мысль, заставлявшая часто-часто биться его сердце:

— Надо бить нъмцевъ...

Нервы не выдержали.

Лейтенантъ фонъ Пирвицъ пользовался дурной славой среди солдатъ. Жестокостью германскаго солдата не удивишь, но лейтенантъ былъ несправедливо жестокъ и невъроятно придирчивъ.

Среди офицеровъ онъ считался хорошимъ товарищемъ, а начальство цѣнило его за выдающуюся храбрость. Не ставя свою жизнь ни въ грошъ, безпечно рискуя жизнью подчиненныхъ, лейтенантъ предпринималъ безразсудно смѣлыя развѣдки—и всегда очень удачно.

Фонъ Пирвицъ былъ заправскій пьяница и въ пьяномъ видъ былъ несносенъ. Обижался на каждый пустякъ, придирался ко всякому случайному слову, грубилъ начальству и любую минуту готовъ былъ затъять скандалъ. Но ему многое — если не все—прощалось за его выдающіяся боевыя заслуги.

Онъ былъ очень хвастливъ, какъ въ пьяномъ, такъ даже и въ трезвомъ видѣ, но его разсказы, какъ бы чудовищно невѣроятны они ни были, всегда носили отпечатокъ остроумія, и за это ихъ любили слушать товарищи офицеры. Одинъ разсказъ особенно нравился всѣмъ и сталъ потомъ даже ходячимъ анекдотомъ: какъ лейтенантъ фонъ Пирвицъ съ тремя нижними чинами бралъ штурмомъ женскую баню. Было, дъйствительно, нѣчто

подобное, когда полкъ стоялъ на западномъ фронтъ, но отъ частаго повторенія, въ новыхъ и новыхъ варіаціяхъ, зерно истины давно затерялось среди фантастическихъ и пикантныхъ подробностей...

Фонъ Пирвицъ могъ болтать безъ устали. Поэтому немало удивлены были его товарищи, когда замѣтили въ немъ перемѣну. Пирвицъ сталъ держаться въ сторонѣ отъ другихъ офицеровъ, и молчалъ—совершенно невѣроятно—даже за рюмкой вина,

-Фонъ Пирвицъ скучаетъ по родинъ!--драз-

нили его офицеры,

—Фонъ Пирвицъ соскучился по своей невъстъ.

- Лейтенантъ влюбленъ!

Но Пирвицъ только отмахивался отъ товарищей, какъ отъ назойливыхъ мухъ, словно истратилъ навсегда свой запасъ разсказовъ и анекдотовъ. Онъ часто сидълъ гдъ нибудь одинъ. Въ такую минуту засталъ его разъ докторъ Мейеръ, и, поймавъ за рукавъ, сказалъ;

— Лейтенантъ, вы больны,

Но Пирвицъ отвътилъ какой то ръзкостью и ущелъ,

Докторъ Мейеръ былъ человъкъ старомодный. Онъ любилъ Гете, котораго ставилъ выше всъхъ писателей — современныхъ и классиковъ, — интересовался философіей, и относился очень скептически къ назръвавшему идеалу Германіи "жельзо-бетонной". Любилъ своего кайзера, былъ хорошій патріотъ, но въ душъ его жила смутная тревога за будущее его горячо любимой родины. Когда стали извъстны факты разрушенія Лувена и Реймса, когда доходили робкіе слухи о жестокостяхъ, творимыхъ его соотечественниками, докторъ грустно качалъ головой и бормоталъ:

- Пожальють, охъ, пожальють.

И чъмъ чаще доходила до него придушенная молва, тъмъ ласковъе обращался онъ съ ранеными плънными и требовалъ того же отъ сестеръ.

Надъ докторомъ въ полку подсмвивались, но и любили его тамъ всв, начиная отъ коман-

дира и кончая послъднимъ солдатомъ,

Фонъ Пирвицъ скоро раскаялся, что сказаль доктору рѣзкость, и на другой же вечеръ пришелъ къ нему въ комнату. Полкъ стоялъ сейчасъ на отдыхѣ въ небольшой курляндской деревушкѣ. Офицеры жили въ большомъ помѣщичьемъ домѣ—"замкѣ", какъ называли его окрестные крестьяне.

— Ну-съ, лейтенантъ, вытряхайте передо мной свое сердце — ласково потрепавъ офицера по плечу, началъ докторъ.—Итакъ, давайте пульсъ и докладывайте, что и гдъ у васъ болитъ.

— Стыдно сознаться, докторъ, но у меня ужасно шалятъ нервы. Я страдаю галлюцинаціями.

— Пьете вы, милый, много, вотъ что.

— Ахъ, что тамъ — пью, всъ пьютъ, не въ этомъ дъло...

— Можеть быть, нюхаете?

Лейтенантъ отрицательно покачалъ головой.

— Нътъ. Придется разсказать вамъ всю эту глупую исторію... Не хотълось бы, ну, да въдь

вы-врачъ...

Помните, съ мъсяцъ тому назадъ, — нътъ, больше, еще тепло было — отбили мы у наступавшаго непріятеля обозъ и санитарный отрядъ. А на утро приказано намъ было оставить все и отступать. Ну, помните? Ахъ, да въдь васъ тогда съ нами не было... Ну, все равно... Было это въ маленькой деревушкъ. Вся она была разрушена снарядами — разъ пять переходила изъ рукъ въ руки. Остался одинъ пивоваренный заводъ,

каменное зданіе съ различными пристройками. Забрались мы на этотъ заводъ, нашли тамъ массу пива и устроили вечеромъ такой кутежъ, что только держись...

Ну и ръшили, что безъ женщинъ скучно...

— Достань дъвочекъ, это по твоей части, фонъ Пирвицъ, — говорятъ мнъ. — Помнишь, какъ ты баню штурмомъ бралъ...

А гдъ же я достану — если не только бабы — курицы ни единой въ деревнъ не осталось... Въ одномъ подвалъ нашли только парочку, старика и старуху, лътъ по восьмидесяти штука... —Не угодио ли?—говорю—чортъ и тотъ мухъ глотаетъ, когда нечего жрать... И вдругъ, какъ это бываетъ, осънило меня: "Да въдь у насъ есть добыча—сестры милосердія!"

Всь поддержали мою мысль, только коман-

диръ заупрямился.

— Нельзя—говорить—непріятности могуть выйти съ международнымъ Краснымъ Крестомъ... И такъ на насъ, германцевъ, всъхъ собакъ въшаютъ...

Но мы его живо переубъдили: объщали обращаться съ ними, какъ съ дамами своего круга. Пусть же поужинають съ нами—что за бъда... И имъ тамъ скучно однъмъ...

Отправились мы за ними въ боковой флигель. Ихъ было всего четыре. Двъ такія молоденькія, точно со школьной скамьи, жались другъ къ дружкъ... Третья была немолода. Четвертая (лейтенантъ остановился, словно прогоняя непріятное воспоминаніе), четвертая была очень красива... Высокаго роста. Пышная брюнетка. Глаза... Фу, какіе глаза! Злые, презлые... Не знаю, какъ чувствовали себя раненые, когда она смотръла на нихъ своими черными глазищами... Онъ молча послъдовали за нами. Одна изъ

Онъ молча послъдовали за нами. Одна изъ младшихъ тихо всхлипывала. Ну, за столомъ раз-

веселились. Мы ихъ усердно угощали, подливали пива. Молоденькія стали смъяться. Долго ли имъ опьянъть... Одно досадно, ни одна не знала нъмецкаго языка, кромъ старой. Одинъ изъ насъ зналъ сносно по русски. Я сталъ пускать въ ходъ свое знаніе французскаго языка.

Моя дама (за блестящую идею я имълъ право выбора) сидъла, какъ статуя, почти ничего не вла, а пива не взяла въ ротъ, несмотря на всв мои уговоры. Это начинало меня бъсить.

Мы здорово перепились въ тотъ вечеръ: ясно, что было не одно только пиво... Когда все было выпито и съъдено, лейтенантъ Реймеръ сказалъ, подмигивая намъ:

— Господа, надо проводить нашихъ дамъ! Командиръ, совершенно осовъвшій, поднялъ голову и пробормоталь:

— Господа, не забудьте, о чемъ я просилъ!

 Не забудемъ, не забудемъ – со смъхомъ отвъчали мы.

Въ правомъ флигелъ фабрики были расположены квартиры служащихъ. Мы еще днемъ присмотръли себъ тамъ, что получше. Комнатки, наименъе пострадавшія отъ бомбардировки. Сестры помъщались въ лъвомъ флигелъ. Но

въ темнотъ развъ могли онъ разобрать, куда

ихъ вели?

У меня была прелестная комнатка-турецкая гостиная. Оригинальная мебель, ковры. $\mathcal A$ олжно быть, она принадлежала къ квартир $\mathbf t$ директора. Я хотълъ зажечь электричество. Но провода, очевидно, были повреждены. Пришлось зажечь свъчу - хорошо еще, что она была... Сестра оглядълась вокругъ и молча съла въ кресло. А я стоялъ предъ ней и, какъ дуракъ, смотрълъ въ ея злые глаза. И прочелъ въ нихъ, какъ мнъ казалось, какое то поощреніе.

— Отпустите меня — сказала она на чистомъ нъмецкомъ языкъ — отведите меня къ другимъ сестрамъ.

Я отвътилъ ей какой то пошлостью, кото-

рая показалась мив тогда очень остроумной.

Подлецъ—пробормотала она.Ахъ, подлецъ—ну погоди!

Я вскочиль и со смѣхомъ сталь цѣловать ее въ губы. Я очень силенъ, но женщина была такъ ловка, такъ извивалась, кусалась и царапалась, что я буквально не могъ съ ней сладить. Но, чѣмъ больше вырывалась она, тѣмъ больше нравилась мнѣ эта дикая ксшка и тѣмъ сильнѣе становилась желаніе. Наконецъ, она устала сопротивляться. Руки безсильно свѣсились внизъ. Со слабымъ стономъ (кажется, я сдѣлалъ ей больно) она откинулась назадъ.

Я торжествовалъ побъду, и жадными губами прильнулъ къ ея полуоткрытой груди. Я выпустилъ ея руку, но она, собравъ послъднія силы, изо всей мочи ударила меня по лицу

крикнувъ:

— Негодяй!

— Негодяй! — ты отвътишь мнъ и за негодяя, и за пощечину, русская дрянь! — прохрипълъ я — ударить по лицу офицера германской арміи!

И въ бъщенствъ я сжалъ, какъ въ тискахъ,

ея бълую шею...

Что было дальше — не помню. Одна картина запечатлълась въ моей памяти — это пробужденіе. Сърый разсвътъ, пробирающійся въ окно. Я лежу на турецкомъ диванъ, и рядомъ со мной она. Вставая, задълъ нечаянно ея руку — прикоснулся, точно ко льду. А изъ открытыхъ глазъ смотръла на меня та же ненависть, что и наканунъ. Изъ открытыхъ стеклянныхъ глазъ...

Въ двери постучали. Было получено распоряжение выступать. Я заперъ комнату на ключъ, чтобы никто не наткнулся на мертвую и вышелъ къ товарищамъ.

Потомъ были жаркіе бои. Дни бѣжали, какъ въ лихорадкѣ. Я не вспоминалъ болѣе случая на фабрикѣ, а если иногда и проскальзывало гдѣ то въ мозгу воспоминаніе, то это было какъ далекій сонъ...

Но съ тъхъ поръ, какъ мы стоимъ здъсь, я вижу ее каждую ночь.

Лейтенантъ замолчалъ, нервно закуривая

новую папироску.
— Значитъ, вы каждую ночь видите ее во снъ? — спросилъ докторъ, напряженно слушав-шій разсказъ офицера. О, какъ хотълось ему, чтобы Пирвицъ отвътилъ: "да"! Но лейтенантъ сказалъ: "Нътъ"

- Нѣтъ, не во снѣ, наяву... не смотрите на меня такъ, докторъ, я знаю, что говорю... Я всегда спалъ, какъ сурокъ... Въ полѣ, на лагерной стоянкѣ, въ траншеяхъ какъ завалюсь, такъ и храплю пока не разбудятъ... А здѣсь вотъ спать не могу. Какъ бы пьянъ я ни былъ, подремлю съ полчаса, проснусь и жду... потому что знаю: она придетъ. Обыкновенно она приходитъ на разсвѣтѣ. Иногда и глухой ночью. И, хотя бы я крѣпко, крѣпко стиснулъ вѣки, закрылъ голову одѣяломъ я чувствую, что она смотритъ на меня. Стоитъ и смотритъ. Молча. Потомъ пропадетъ. И я не могу послѣ уснуть уже ни на минуту. Докторъ, вѣдъ это же невыносимо. Вылѣчите меня! — Нътъ, не во снъ, наяву... не смотрите на
- Лейтенантъ, я врачъ. Скажите же мнъ правду: вы не нюхаете?

И опять Мейеру хотвлось, чтобы Пирвицъ сказалъ: "да"

Но онъ только энергично покачалъ головой.

— Тогда вы слишкомъ много пьете. Старайтесь пить меньше. И, главное, возьмите себя въ руки. Въдь не баба же вы въ самомъ дълъ, а офицеоъ. Убъждайте себя, ложась въ постель, что она не можетъ придти. Въдь это абсурдъ. А если все таки увидите — подойдите къ тому мъсту, гдъ вамъ почудилось, дотроньтесь, что ли, оуками... Увидите, что ничего нътъ... Однимъ словомъ — двигайтесь, не лежите безпомощно, и, главное, не настраивайте себя на этотъ ладъ.

— Я пробоваль уже, докторъ...

— Пробуйте еще... Я вамъ дамъ порошки принимайте, ложась спать, а главное — старайтесь не думать объ этомъ...

Фонъ Пирвицъ поблагодарилъ и вышелъ изъ комнаты.

А докторъ долго еще сидълъ такъ, какъ оставиль его лейтенанть, и тупо смотовль въ одну точку. То, что до сихъ поръ туманно и неясно ощущала его душа, тъ черные слухи, которые, въ силу ихъ чудовищности, гналъ отъ себя докторъ, - все стало живой дъйствительностью.

— Вотъ онъ, одинъ изъ звърей, о которыхъ кричатъ противники... Ну а если это-не единичкый случай? Если ихъ, дъйствительно, такъ много,

какъ пишутъ англійскія газеты?

На разсвътъ изъ комнаты фонъ Пирвица послышались выстрълы и крики. Проснувшіеся офицеры столпились у дверей, но никто не ръшался войти. Пирвицъ бъгалъ съ револьверомъ въ рукахъ и кричалъ:
— Не подходите!

Съ большимъ трудомъ удалось его обезоружить и уложить въ постель.

На другой день Пирвицъ вышелъ только къ объду (было приказано его не будить), блъдный, съ громадными синяками подъ воспаленными, бъгающими глазами. Всъмъ было неловко, избъгали даже смотръть на лейтенанта, и когда Реймеръ, недолюбливавшій Пирвица, попробоваль было заикнуться о вчерашнемъ, докторъ сдълалъ ему знакъ.

Вечеромъ всъ собрались въ уютной гостиной, гдъ въ каминъ горъли дрова. Фонъ Пирвица не было, и, естественно, что разговоръ кос-

нулся ночной исторіи.

 Допился до галлюцинацій! — оъщили всъ, понявшіе изъ несвязныхъ выкриковъ лейтенанта, что онъ кого то видвлъ.

— Да, начало бълой горячки-откликнулся

докторъ.

— Онъ увидълъ, навърное, родовое привидъніе этого замка — сказалъ Реймеръ — въды въ каждомъ приличномъ замкъ есть свое родовое привидъніе... Надо разспросить Индрика, онъ, навърное, разскажетъ намъ цълую легенду...

— Серьезно, позовемъ его — сидъть такъ

скучно...

Послали за старымъ престарымъ слугой, единственнымъ живымъ существомъ, которое при своемъ вступленіи въ замокъ нашли германцы. Индрикъ сначала робълъ, но послъ второго стакана, поднесеннаго ему офицерами, сталъ словоохотливо разсказывать о славномъ родъ балтійскихъ рыцарей фонъ Реке, которые три стольтія, если не больше, владъли этимъ замкомъ. Лътъ двадцать тому назадъ, когда послъдній отпрыскъ рода фонъ Реке прокутилъ свое имъніе, и безъ того доведенное послъдними владъльцами до разоренія, его пріобръль латышь адвокать Преде.

Индрикъ разсказывалъ, какъ всъ старики, многословно и подробно. Интереснаго въ его разсказъ было мало и офицеры, послъ того, какъ онъ окончилъ о рыцарскомъ родъ, почти перестали его слушать. Только, когда старикъ упомянулъ про дочерей адвоката, Реймеръ разсъянно спросилъ:

— Хорошенькія?

 Красавицы — убъжденно отвътилъ Индрикъ — да вотъ я покажу вамъ портретъ стар-

шей, фрейлейнъ Лиліи — сами убъдитесь. Съ этими словами Индрикъ полъзъ было на стуль, чтобы отдернуть кисею, закрывавшую портретъ надъ роялью, но Реймеръ опередилъ его и быстро открыль картину. На него глянуло очень красивое и серьезное женское лицо съ большими лучистыми глазами.

Дикій крикъ нарушилъ тишину. И лейтенантъ фонъ Пирвицъ, вошедшій незамъченный никъмъ,

выбъжалъ въ короидоръ со словами:

— Она, она !

Офицеры обступили Индрика, желая узнать, что случилось съ дочерью адвоката, и почему она "стала привидъніемъ". Но Индрикъ очень разсердился на вопросы и отвівчаль, что барышня съ самаго начала войны ушла въ сестры милосердія и, насколько ему извъстно, жива и здорова и до сихъ поръ.

Разочарованные офицеры отпустили Индрика. Но въ корридоръ преградилъему дорогу Пирвицъ.

— Возьми! — сказаль онь, бросая бумажку и скажи мнъ чистую правду - когда ты видълъ

въ послъдній разъ старшую барышню?

— Вотъ, далась имъ фрейлейнъ Лилія подумаль старикъ. — Я точно не помню. Кажется, въ прошломъ сентябръ, когда она пріъзжала проститься съ родными передъ отъвздомъ на позиціи.

— А больше ты ее не видълъ? Теперь? Лицо офицера выразило напряженное ожиданіе.

— Богъ съ вами, господинъ офицеръ-какъ

я могу ее видъть — въдь она на фронтъ!

— А я ее вижу — прошепталъ Пирвицъ понизивъ голосъ-вижу каждую ночь... въ своей комнатъ...

— Господинъ офицеръ занимаетъ к**омнату** фрейлейнъ Лиліи — ежась, отвътилъ Индрикъ.

Видно было, что ему стало не по себъ.

Внезапно лейтенантъ обернулся-какъ оборачивается человъкъ, котораго кто нибудь тронулъ. Дикій ужасъ отразился въ его безцвътныхъ глазахъ. Не отоываясь, смотовль онъ въ дальній уголъ длиннаго корридора, гдв шла какая то свътлая женская фигура. Вышла изъ темной залы, прошла шага четыре и скрылась въ комнать Пирвица...

Лейтенантъ громко застоналъ и опустился на кольни... Когда выбъжали офицеры, они застали Индрика хлопочущимъ надъ бившимся

истерикъ Пирвицомъ.

Его уложили въ постель и докторъ Мейеръ просидьть у изголовья больного до разсвыта. Но вторая безсонная ночь давала себя чувствовать и старичекъ началъ дремать. И вотъ, когда въ комнать стало уже почти свътло, показалось ему, что отворилась дверь и вошла сестра милосердія.

— Пришли меня смънить, сестрица? - разсъянно въ полуснъ сказалъ докторъ. Она не отвътила и молча подошла къ постели. И теперь докторъ ясно различилъ ея взглядъ полный такой злобы, такой ненависти, что ему стало какъ то не по себъ. Фонъ Пирвицъ поднялся въ постели и закрылъ лицо руками. ~ — Докторъ! — простоналъ онъ — докторъ,

спасите!

Докторъ очнулся окончательно и бросился къ больному.

— Докторъ, и вы ее видъли? Не отрицайте: я замътилъ, какими глазами вы смотръли въ ту сторону...

Докторъ оглянулся. Въ комнатѣ, кромѣ нихъ, никого не было. Только блѣдныя разсвѣтныя тѣни скользили по полу и стѣнамъ.

- Докторъ, я хотълъ броситься къ ней—и не могъ... Хотълъ броситься и задушить... Ей мало одного раза... Ее надо душить десятки разъ—у нея десятки жизней... Я ее задушу, докторъ...
- И, какъ клещами, впился Пирвицъ въ руку Мейера, крича:

— Задушу, задушу!

- Такъ вы говорите, докторъ признаки буйнаго помъщательства? И необходимо отправить первымъ санитарнымъ поъздомъ въ Германію? Очень, очень жаль—отличный былъ солдатъ... Такихъ поискать надо... И вы думаете —это безнадежно?
- Я не психіатръ, господинъ полковникъ, но думаю—ему врядъ ли можно будетъ помочь...
 - Очень жаль, очень жаль, докторъ...

Когда докторъ возвращался отъ полковника, ему было очень грустно.

— Вотъ, этотъ не выдержалъ...—думалъ онъ
—нервы сплоховали... А тѣ, которые вернутся
домой, къ своимъ семьямъ? Послѣ того, что
сдѣлали? Вѣдь не одинъ онъ такой... Ихъ десятки... Можетъ быть, сотни... И послѣ всѣхъ
ужасовъ вернутся они къ своимъ очагамъ...

Какъ и чѣмъ будутъ они жить?
Какъ будутъ воспитывать дѣтей, новое поколѣніе Германіи?
И страшно стало доктору за будущее его
любимой родины, и казалось оно ему такимъ же
безпросвѣтнымъ, какъ этотъ сентябрьскій плаксивый день...

Полковникъ Рейсъ.

Жуткая, непонятная тяжесть лежала надъ городомъ.

Уже одинъвидъ мокрыхъ, блестящихъ крышъ и тротуаровъ и скользившихъ по грязнымъ ствнамъ капель нагонялъ безотчетную тоску.

И только зеленыя деревья, слегка дрожавшія подъ напоромъ ръзкаго вътра, говорили о томъ, что еще не осень холодная — а лъто.

Но какъ то не върилось этому.

Было воскресное утро. Но нигдъ не раздавалось звона православныхъ церквей, не слыхать было монотонныхъ колоколовъ кирхъ и костеловъ. Не спъшили съ изящными молитвенниками въ рукахъ дъвушки, не возвращались отъранней объдни благообразныя старушки.

На улицахъ было тихо и пустынно. И отъ этой тишины и пустоты становилось еще грустиве.

Ръдкіе прохожіе вглядывались другъ въ друга, словно желая прочесть безмольный отвътъ на тотъ вопросъ, который лежалъ на душъ у каждаго. Вглядывались — и быстро шли дальше...

Городъ находился въ непосредственной опасности, прекрасный большой городъ со стильными каменными домами, утопавшими въ моръ зелени,

съ прекрасной гаванью, съ большими многочисленными заводами.

Все, что могло принести пользу врагу, вы

возилось отсюда уже давно.

Замолчали фабричные гудки. Онъмъли церковныя колокольни. Закрылись богатые магазины. Поръдъла толпа. Городъ погрузился во мракъ — потому что запрещено было зажигать свътъ.

И въ этомъ жуткомъ мракѣ шевелились, двигались и росли до чудовищныхъ размѣровъвъсти о приближеніи врага.

Непріятель вступилъ въ городъ около полудия.

Усилившійся дождь съ ожесточеніемъ хлесталь въ лицо побъдителямъ — безъ боя вступавшимъ въ городъ. Крупныя капли стучали по мъднымъ каскамъ, стекали за воротникъ и заста вляли солдатъ ежиться. Вътеръ развъвалъ мокрые хвосты лошадей и безпощадно трепалъ бъло-черно-красные флаги, которыми часть жителей поспъшила украсить свои дома.

А изъ оконъ домовъ, не украшенныхъ флагами, изъ за гардинъ, шторъ и занавъсокъ смотръли на незваныхъ гостей испуганные женскіе глаза или мрачныя лица мужчинъ...

— Боже мой, Боже мой! — шепчетъ съ то-

— Боже мой, Боже мой! — шепчетъ съ тоской очень блъдная молодая дѣвушка, прижима-

ясь къ стеклу горячимъ лбомъ.

- Върочка! зовутъ изъ сосъдней комнаты. Дъвушка идетъ туда. Въ полутемной спальнъ душно. Пахнетъ лекарствами. Съ постели приподнимается блъдное лицо. Слабый голосъ спрашиваетъ:
 - Это солдаты поютъ?

— Солдаты.

-- Поютъ-значитъ, врага отбили?

- Отбили, мамочка.

Дъвушка упорно смотритъ себъ подъ ноги.
— Ну, слава Богу, слава Богу!
Желтая тонкая рука поднимается, чтобы совершить крестное знаменіе.

Въра не выдерживаетъ и выходитъ изъ комнаты. На порогъ сталкивается съ отцомъ.

— Какъ это обидно, папа! — шепчетъ она сквозь невольно брызнувшія слезы — и маму жаль... Въдь нельзя же ей сказать...

Дъвушка беззвучно плачетъ, прислонившись

къ плечу отца...

Когда началась война и всю Россію охвакогда началась война и всю Россію охватиль общій порывь, Въра Штейнъ страстно порывалась сдълать что нибудь для родины. Забыта была на время манившая еще такъ недавно сцена. У нея находили талантъ... Не кто нибудь, а люди съ именами... Теперь драматическіе курсы, наполнявшіе еще такъ недавно всъ ея мечты, замѣнились курсами сестеръ... Теперь въ ея мечтахъ мелькалъ длинный рядъ коекъ съ блъдными, изможденными лицами...

Хотелось, впрочемъ, не этого, а чего то другого: какого нибудь яркаго и большого подвига... Но Въра превозмогла себя и пошла въ сестры... Трудно было ей, избалованной и упрямой, привыкать къ тяжелому труду, къ виду страшныхъ ранъ, къ спертому воздуху палатъ, гдъ приходилось дежурить, къ стонамъ раненыхъ. Но была сила воли — и Въра превозмогла себя и кончила

курсы одной изъ первыхъ.

Тутъ было получено извъстіе о смерти брата, павшаго въ бою. А черезъ два мъсяца — о смерти второго... Мать не выдержала этого двойного потрясенія, и застарълая бользнь стала развиваться съ необычайной быстротой. И Въра,

похоронивъ мечты о широкой помощи раненымъ, отложивъ на время поступленіе въ лазаретъ, примѣнила только что пріобрѣтенныя познанія къ уходу за тяжело больной. Она отдавала заботамъ о матери все свое время. Но это ее не удовлетворяло. Ей все казалось, что нельзя теперь жить для кого нибудь одного, близкаго, когда страдаютъ всѣ, страдаютъ тѣ незнакомые, далекіе, которые должны стать самыми близкими, самыми родными...

Но вѣдь мать ни за что не согласилась бы ее отпустить... Ей казалось, что отпусти она на войну и Вѣру — она лишиться и ея, какъ лишалась обоихъ сыновей... А волновать мать сейчасъ было невозможно...

Когда Въръ удавалось урвать минутку, чтобы забъжатъ въ лазаретъ, гдъ работали ея подруги, окончившія вмъстъ съ ней, и она проходила между коекъ — ей становилось безконечно грустно, даже стыдно, что она не съ ними...

- Вотъ, поправится мама, тогда и я приду сюда — утъшала себя дъвушка.

Но бользнь затягивалась и затягивалась...

Поздно вечеромъ у дверей раздался властный звонокъ.

Прислуга, открывшая дверь, взвизгнула и бросилась въ комнату съ крикомъ:

— Баринъ, нъмцы!

Вошли три щеголевато одътыхъ офицера. Отецъ Въры пригласилъ ихъ въ гостиную. Одинъ изъ нихъ, некрасивый и рябой толстякъ, обратился къ нему въжливо съ просьбой уступить три комнаты. Говорилось это въжливо — но все же это было приказаніе

— Я вамъ могу дать только двъ — глухо

отвътилъ хозяинъ — тамъ у меня больная жена... Тяжело больная...

- Намъ нужно три заявилъ второй, фатоватый блондинъ, но третій, интересный брюнетъ, замътилъ:
 - Ничего, обойдемся и двумя...

Вечеромъ больной стало хуже. Казалось,

начинается уже агонія.

Мужъ пошелъ искать доктора. Извозчиковъ не было. Пришлось итти пъшкомъ. На улицахъ ксе гдъ была иллюминація. Всъ кино и кафэ были открыты и ярко освъщены. Всюду виднълась форма германскихъ офицеровъ. И такъ дико было Штейну итти среди этого блеска со своимъ двойнымъ горемъ...

А дома, въ столовой, сидъли за ужиномъ офицеры. Было изрядно выпито и рябой толстякъ, разстегнувшись и устроившись поуютнъе на диванъ, затянулъ старинную нъмецкую пъсню:

Morgenrot, Morgenrot, Leuchtest mir zu frühem Tod...

Блондинъ сталъ подпъвать теноромъ пріятнаго тембра. Старая пъсня о грустной долъ солдата заставила очнуться и задумавшагося брюнета. Сочный баритонъ подхватилъ:

Bald wird die Trompete blasen, Dann muss ich mein Leben lassen, Ich und mancher Kamerad...

Протяжные звуки пъсни разливались по квартиръ. Дверь пріоткрылась. Въра неръшительно остановилась на порогъ. Ея фигура, беззвучно появившаяся изъ темноты, выдълилась на фонъчернаго корридора. Первымъ замътилъ ее блондинъ и вскочилъ, галантно раскланявшись и оборвавъ пъсню на полусловъ. Замолчали и осталь-

ные. А Въра, оправившись отъ перваго смущенія, сказала тихо, но твердо:

— Я убъдительно просила бы васъ, госпо-

да, не пъть — моя мать умираетъ...

— Что съ вашей мамашей? — спросилъ ря-

бой — я врачъ.

- Пройдите къ ней, докторъ! сказалъ повелительно брюнетъ и, обратясь къ Въръ, прибавилъ:
- Мы больше не будемъ безпокоить вашу мамашу, фрейлейнъ. Прошу насъ извинить въдь мы не знали...

Минутъ черезъ десять докторъ вернулся.

— Hy? — спросилъ блондинъ.

— Умираетъ — лаконически отвътилъ докторъ, наливая себъ стаканъ вина, и сълъ къ столу.

— Хорошенькая дъвочка — замътилъ блон-

динъ.

— Отецъ нъмецъ, мать — русская — сказалъ докторъ.

— Но въ общемъ — скорѣе нѣмецкій, чѣмъ русскій домъ — сказалъ блондинъ, оглядываясь по сторонамъ на уютную обстановку.

— Такъ и ведите себя, какъ въ приличномъ нъмецкомъ домъ — холодно бросилъ брюнетъ.

Его звали полковникъ Рейсъ.

Г-жа Штейнъ умерла въ ту же ночь. Въра не плакала, не жаловалась, а какъ то окаменъла

въ своемъ горъ.

Штейнъ былъ совсъмъ разбитъ. Гибель сыновей, убитыхъ на фронтъ, смерть горячо любимой жены, занятіе непріятелемъ родного города (Штейнъ былъ нъмцемъ только по фамиліи) — все это какъ то совсъмъ пригнуло къ землъ

этого слабовольнаго человъка. Онъ часто цъльми днями просиживалъ на кладбищъ, ходилъ постоянно въ церковь и какъ то совсъмъ не интересовался тъмъ, что происходитъ у него дома.

Полковникъ Рейсъ, занимавшій гостиную, бываль дома рѣдко. Два другихъ, докторъ и блондинъ, поселившіеся въ столовой, много пьянствовали, а по вечерамъ къ нимъ зачастую собирались товарищи играть въ карты. Изъ разговоровъ офицеровъ, не стѣснявшихся громко бесѣдовать о своихъ дѣлахъ, Вѣра скоро, черезъ тонкую стѣнку, узнала, что полковникъ Рейсъ былъ правой рукой начальника штаба генерала Б., но, по какимъ то своимъ соображеніямъ, не хочетъ жить въ роскошныхъ штабныхъ помѣщеніяхъ, отведенныхъ въ "домѣ дворянства". Штейнъ не интересовался своими постояльцами совершенно и даже не зналъ ихъ фамилій.

Ему было извъстно, что Въра горячо ненавидитъ нъмцевъ и что ненависть эта прямо бользненно обострилась посль того, какъ былъ убитъ ея любимецъ, второй братъ, Коля. И потому былъ немало удивленъ, когда разъ вечеромъ, придя домой, услышалъ голосъ Въры изъ комнаты, гдъ обиталъ полковникъ. Теперь, какъ сквозъ сонъ, онъ вспомнилъ, что раза два видълъ, какъ Въра разговаривала съ Рейсомъ и ранъе. Штейнъ ръшилъ объясниться съ дочерью, но когда она вышла отъ полковника, со странно блестъвшими глазами, смотръвшими прямо на него, но словно ничего не видъвшими — онъ покачалъ только головой, и молча прошелъ къ себъ.

Съ этого дня у Штейна открылись глаза на то, мимо чего онъ долго проходилъ безъ вниманія, ослъпленный своимъ горемъ. Сталъ замъчать взгляды, которыми полковникъ прово-

жалъ его дочь. Видълъ, что Въра находитъ различные предлоги, чтобы входить въ комнату Рейса.

Онъ решилъ бывать больше дома...

Штейнъ привыкъ върить дочери, унаслъдовавшей отъ него какую то прямолинейную — нъмецкую — честность. Онъ не сказалъ бы ничего, каковъ бы ни оказался выборъ Въры. Но ея ненависть къ нъмцамъ — и германскій офицеръ? Онъ не понималъ дочери...

Штейнъ твердо ръшилъ объясниться съ Върой, но, по слабости характера, откладывалъ объ-

ясненіе со дня на день...

Однажды вечеромъ, вернувшись домой, онъ услышалъ еще на улицъ звуки піанино и голосъ

Въры, пъвшій его любимую пъсню.

Онъ пълъ эту пъсню въ молодости, пълъ, когда былъ еще женихомъ Въриной матери... И звуки эти настраивали его всегда грустно... Въра не пъла уже давно, но Штейнъ не могъ не узнать ея серебристаго сопрано:

... Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib, Die Seele stirbt vor Sehnen — Mich hat das unglückselige Weib Vergiftet mir ihren Trânen.

Штейнъ неслышно открылъ дверь гостиной. Заглянулъ. Въра кончила пъть и сидъла за піанино, опустивъ голову на руки. А полковникъ стоялъ за ней и молча цъловалъ ея шейку...

Въра! – ръзко позвалъ отецъ.

Она вышла къ нему. Глаза ея были такіе же ясные, какъ всегда, и она смотръла на отца попрежнему открыто.

— Въра, что ты дълаешь?

Голосъ Штейна сталъ какимъ то плаксивымъ. — Оставь меня, отецъ. Я знаю, куда я иду...

Слова ея были такъ странны.

— Ты его любишь?

Вьоа медлила съ отвътомъ.

- Любишь? еще тише спросилъ отецъ.
- Нътъ сорвалось съ устъ Въры. Еле внятно.
 - Но онъ цъловалъ тебя!
- Да, цъловалъ... Но ты долженъ върить мнъ, папа... Я тебя не опозорю. Сказала и пошла снова къ Рейсу...

Въ гостиной было темно. Изъ столовой доносился звонъ стакановъ и громкіе голоса. Лунный лучъ, пробиравшійся украдкой между цвътовъ, игралъ на полу, чертя причудливые рисунки и скользилъ по тъмъ двумъ, что сидъли на диванъ. Поижавшись доугъ къ доугу. Не видя и не слыша ничего. Въра сидъла поямо. какъ изваяніе, а Рейсъ шепталь, тихо и страстно, приникши устами къ ея плечу.

— Когда же, Върочка, когда?

— Я сказала тебь: когда уьдеть отець.

— Когда же онъ, наконецъ, уъдетъ?

— Когда получить пропускъ.

— Въдь я же стараюсь!

Въ дверь постучали. Въра быстро повернула выключатель и отошла къ окну. Въ гостиную просунулась голова блондина. По губамъ его струилась еле замътная усмъшка. Онъ пошептался о чемъ то съ Рейсомъ и вышелъ. Въра подошла къ рояли.

— Какая у тебя пыль — сказала она укоризненно — Если бы я иногда не вытирала — я не знаю, что было бы здъсь... И зачъмъ ты въчно запираешь дверь, когда уходишь?...

- Въдь я объяснялъ тебъ, голубка, что у меня хоанятся бумаги пеовъйшей важности. Я отвъчаю за нихъ...
- Да кто же ихъ тронетъ? Прислуга то и читать не умъетъ по нъмецки, отцу нътъ ни до чего никакого дѣла... А больше въ домѣ никого нѣтъ... Да, навѣрное, онѣ у тебя и заперты...
 — Да, въ шкафу. Но не въ томъ дѣло.
- Пойми: бумаги настолько важны, что даже своей женъ — даже тебъ не довърилъ бы я ихъ ни на часъ. Мнъ не позволило бы этого чувство долга..

. Въ дверь постучали.

- Барышня, баринъ вернулись и зовутъ васъ.
- Да, сейчасъ. Торопись же съ пропускомъ,

Вся кровь бросилась ему въ голову. Рейсъ понялъ смыслъ ея словъ...

- Мнъ надо поговорить съ тобой, папа.
- Я слушаю тебя, Върочка.
- Тебъ нужно уъхать.
- Увхать? Куда? Зачвмъ?
- Въ Псковъ. Къ дядъ.Но какъ же? Черезъ границу?
- Вотъ пропускъ. Съ нимъ пройдешь всюду, тдв стоять германскія войска. А съ нашими поладишь самъ...

Штейнъ посмотрълъ на подпись на пропускъ. Лицо его выразило величайшее удивленіе.

— Вѣоа, откуда?

- Отъ Рейса, конечно . . . Ну, папа, я соберу тебя въ дорогу. Ты поъдешь сегодня вечеромъ.
 - Сегодня? А ты?
 - Я пока останусь.

— Въра, одна? Съ этими? Я тебя не оставлю!

— Ты долженъ вхать, отецъ! Я прівду за

тобой черезъ два дня.

Къ вечеру Штейнъ увхалъ. Ввра, проводивъ его, прошла въ спальню покойной матери, куда никто не входилъ со дня ея смерти. И долго шарила на ночномъ столикъ между скляночками и коробками съ лекарствами...

Они сидъли въ гостиной и пили кофе. Въру, видимо, лихорадило. Закутанная въ платокъ, она ежилась и вздрагивала, а затуманенный взглядъ ея безпокойно блуждалъ по комнатъ.

- Что съ тобой, голубка? заботливо спрашивалъ Рейсъ.
- Простудилась отвъчала она, кутаясь плотиве въ платокъ.

Въ окно стучалъ назойливый осенній дождь. Протяжно и нудно. Въ комнатъ было, несмотря на топившійся каминъ, прохладно.

— Пей кофе, все пройдетъ — сказалъ онъ, подливая ликера.

Ловилъ, черезъ столъ, ея руку и цъловалъ, одинъ за другимъ, тонкіе пальцы.
— Пей самъ — остынетъ — улыбалась она,

отвъчая пожатіемъ руки.

А сама не притрагивалась ни къ чему.

Рейсъ быстро допилъ свой стаканъ и, отодвинувъ его, подошелъ къ Въръ.

Прошло несколько минутъ, долгихъ, мучительныхъ и такихъ тихихъ, что, казалось, можно было слышать, какъ ползетъ къ Въчности время. Дождь и тотъ выжидательно замолкъ.

Въра нащупала въ карманъ Рейса связку ключей, зажгла слегка дрожащими руками кар-

манный фонарикъ и подошла къ шкафу. На верхней полкъ — шкатулка. Этотъ ключикъ — маленькій только одинъ — долженъ быть отъ нея. Въ шкатулкъ бумаги. Въра свернула ихъ, спрятала у себя на груди. Вынула изъ кармана письмо и положила его на мъсто бумагъ въ шкатулку. Заперла и спрятала снова въ шкафъ. Пошла къ дверямъ. Но, повинуясь внезапному импульсу, подошла къ кръпко спавшему и тяжело дышавшему во снъ полковнику и поцъловала его слегка вздрагивавшія во снъ губы

Посмотръла на него въ послъдній разъ съ порога. Какъ будто бы прощалась навъки. По-

томъ закрыла дверь.

Офицеры, вернувшіеся на разсвътъ съ попой-ки въ офицерскомъ клубъ, постучали къ Рейсу. Но блондинъ шепнулъ что то доктору, и оба съ гаденькими усмъшками ушли къ себъ.
Было воскресенье и офицеры спали до полу-

дня. И только, когда около двухъ часовъ пришелъ курьеръ изъ штаба, принесшій Рейсу срочное письмо, они стали стучаться въ дверь. Но, когда на самый назойливый стукъ не было никакого отвъта, они ръшили попробовать войти къ нему черезъ другую дверь, выходившую въ комнату Штейна. Они знали, что Штейнъ уъхалъ. Постучались къ Въръ, и, не получивъ отвъта и тамъ, вошли и стали пробовать ключи. Одинъ подощелъ.

Рейсъ лежалъ на полу съ простръленнымъ вискомъ. Рядомъ съ нимъ валялся револьверъ, стояла открытая шкатулка, и виднълся разсъянный пепель отъ сожженнаго письма...

Каинова печать.

Его звали Иванъ Карловичъ Шварцъ.

Неправда ли, какъ пахнетъ отъ этого имени

Германіей?

А, между тъмъ, Германіи онъ и въ глаза не видалъ, плохо и съ акцентомъ говорилъ по нъмецки и былъ чисто русскій человъкъ. Какъ у большинства московскихъ нъмцевъ, въ домъ Шварцевъ были заведены русскіе обычаи и порядки. По угламъ висъли иконы и наканунъ праздниковъ теплились передъ ними лампадки,

праздниковъ теплились передъ ними лампадки, Иванъ Карловичъ былъ, какъ и мать его, православный. Отъ нѣмца отца унаслѣдовалъ онъ только двѣ типично-нѣмецкія черты: голубые глаза и педантичную аккуратность. Это послѣднее качество, между прочимъ, сильно раздражало старую Марфу, которая не разъ, получивъ выговоръ за неряшество, сплевывала въ сторону, ворча:

— У, нъмчура!

О томъ, что онъ — нъмецкаго происхожденія, Шварцъ узналъ впервые въ гимназіи, гдъ каждый учитель, открывая классный журналъ, пестръвшій фамиліями "Ивановъ, Петровъ, Семеновъ, Морозовъ", наткнувшись на "Шварцъ" считалъ своимъ долгомъ спросить:

— Ты нѣмецъ?

Въ гимназіи онъ научился говорить по $^{17}_{st}$ нѣ-мецки, но довольно плохо.

Чтобы исправить его произношеніе, отецъ заставляль его по праздникамь прочитывать вслухь страницу изъ нъмецкаго разсказа—и больше его успъхами по этому предмету не интересовался.

Ваня почти не слыхалъ нѣмецкой рѣчи. Всѣ знакомые Шварцевъ были русскіе или прекрасно говорили на русскомъ языкъ.

Познакомился онъ съ нѣмцами только, когда, послѣ окончанія университета, получилъ мѣсто въ Прибалтійскомъ краѣ. Но они его не считали за своего. И первое впечатлѣніе его было не

изъ поіятныхъ.

Изъ всъхъ новыхъ знакомыхъ онъ ближе всего сошелся съ семьей своего университетскаго товарища фонъ Цедера. Онъ никогда не дружиль съ нимъ особенно въ университеть, но эдъсь, въ чужомъ городъ, былъ радъ и этому знакомому лицу. Сближенію съ семьей немало помогала бълокурая Мальхенъ, такая скромная, чистая, наивная...

Но этотъ прелестный образъ не могъ скрыть отъ Шварца тъхъ неприглядныхъ сторонъ балтійско-нъмецкаго быта, которыя ему, воспитанному на московскихъ широкихъ взглядахъ, бро-сались невольно въ глаза. Больше всего отталкивалъ его узкій шовинизмъ, неприкрытое презрвніе ко всему, что не носило нвмецкой марки и прикрашенное красивыми словами жество.

Къ счастью своему, Шварцъ во время поняль, какъ искусно ловили его въ свои съти на ивные голубые глаза...

Онъ перевелся въ Либаву. Но и тутъ пришлось ему вращаться больше въ нѣмецкомъ обществъ. И какъ то случалось, что оно все поворачивалось къ Шварцу своими неприглядными сторонами. Такъ зародилась у него непріязнь ко всему нѣмецкому.

Онъ провель въ Либавѣ, вѣрнѣе — порту Императора Александра III — три года, и не потеряль ихъ даромъ. Недюжинныя познанія по своей спеціальности, энергія, находчивость и удивительная работоспособность скоро выдвинули молодого инженера. Шварцъ и самъ вѣрилъ въ свою блестящую звѣзду, и въ основаніе будущаго клалъ двѣ мечты: осуществленіе грандіозно смѣлаго проекта, долженствующаго создать ему имя и славу, и женитьбу на горячо любимой дѣвушкѣ.

Поглощенный совершенно своимъ интереснымъ призваніемъ, Иванъ Карловичъ почти не зналъ женщинъ, и снова выборъ его палъ на хорошенькую, какъ куколка, но пустую и легкомысленную дъвушку, только что выскочившую со школьной скамьи.

Отецъ его невъсты, видный русскій бюрократъ, по какому то недоразумѣнію попавшій въ нѣмецкій городокъ, относился къ Шварцу не слишкомъ доброжелательно. Онъ не имѣлъ ничего противъ личности молодого инженера, но его превосходительству казалось не совсѣмъ удобнымъ выдать единственную дочь за человѣка, "не имѣющаго чина". Потребовалось много слезъ, лившихся обильно изъ голубыхъ глазъ Лилиньки, и дипломатическихъ разговоровъ со стороны ея мамаши, чтобы сломить сопротивленіе его превосходительства. Иванъ Карловичъ, окрыленный мечтой стать мужемъ обожаемой Лилиньки, лихорадочно отдался своей работъ — окончанію проекта.

Начавшаяся война рѣзко оборвала всѣ его мечты. Проектъ временно потерялъ свое значеніе. Свадьбу рѣшили отложить.
И война же больно и несправедливо уколола Ивана Карловича, напомнивъ ему его нѣмецкое

происхожденіе.

Первый разъ кольнуло его, когда онъ, возбужденный и радостный, велъ по улицъ толпу манифестантовъ. Послушная его волъ, шла за нимъ тысячная толпа, и онъ, высоко поднявъ флагъ, выкрикивалъ страстные возгласы, какъ эхо подхватываемые народной ръкой.

Могучая волна уносила его, приближала къ ясному іюльскому небу, на которомъ мерцали первыя звъздочки.

и, въ тотъ моментъ, когда онъ, воодушевленный искреннимъ чувствомъ, выкрикивалъ "Долой Германію!" — онъ замътилъ насмъшливый взглядь бывшаго школьнаго товарища. Петрова, съ которымъ изръдка встръчался въ Ли бавъ.

— И это кричитъ Herr Шварцъ! — сказалъ

тотъ, улыбаясь.

Конечно, это была шутка, но такъ обидно, такъ больно стало отъ этой шутки. Обидно отъ незаслуженнаго упрека за имя, которое онъ носилъ.

Это была первая обида. За ней послѣдовала вторая, уже болѣе серьезная, надломившая и искальчившая всю его жизнь.

Послъ первой бомбардировки родители его невъсты покинули Либаву и переселились въ Петроградъ. Лилинька какъ то не умъла писать пи-

семъ, а Иванъ Карловичъ, какъ ни въ разлукъ съ Лилинькой, уъхать скучалъ онъ сейчасъ изъ Либавы не могъ.

Ему удалось попасть въ столицу только въ ноябов. Полный радостныхъ надеждъ, летвлъ онъ, подгоняя извозчика, по Литейному. Онъ представляль себь, какъ Лилинька, съ обычной своей экспансивностью, выбъжитъ ему навстръчу, повиснетъ у него на шеъ. А потомъ надуетъ губки и скажетъ:

— Какъ долго мы не видались!

Такъ, бывало, говорила она, когда, занятый службой, онъ не приходилъ къ ней дня тои.

Но его превосходительства не оказалось дома, ея превосходительство не могли принять, а Елизавета Петровна были нездоровы...

Безпо сойство овладьло Шварцемъ. Онъ ръшилъ почему то, что отъ него что то скрываютъ. Всю ночь мерещилась ему Лилинька, больная, страдающая... при смерти...

На другой день, не дождавшись "визитнаго времени", отправился Шварцъ къ его превосходительству. Тотъ оказался на сей разъ дома и принялъ Ивана Карловича у себя въ кабинетъ.

Отвътивъ вскользь на тревожный вопросъ: "Что съ Лилинькой?"—онъ перешелъ прямо къ двлу.

- Вотъ что, милый Иванъ Карловичъ началъ онъ снисходительно - вы знаете, что лично противъ васъ я ничего не имъю. Далъ согласіе на вашъ бракъ съ Лилинькой и мать его не намъренъ. Но... знаете ли... ваша ужасная фамилія!.. "За къмъ замужемъ ваша дочь, ваше превосходительство?" — За Herr Шварцемъ! — Это совсъмъ неудобно по нашему времени . . . — Но чѣмъ же я виноватъ, ваше превос-

ходительство? Вы же знаете, что я русскій, пра-

- Знаю, энаю.. И вотъ что я вамъ посовътоваль бы, голубчикъ: перемъните фамилію. Это совсъмъ не сложно. Прошеніе на Высочайшее имя. У меня въ канцеляріи Его Величества связи... И дъло будетъ въ шляпъ...
- Хотя я и ношу фамилію Шварцъ, но стыдиться мнѣ ея нечего, немного рѣзко отвѣтилъ инженеръ. Изъ насъ, Шварцевъ, никто не запятналъ себя никакимъ грязнымъ дѣломъ. И я не вижу причинъ оскорблять свою мать перемѣной фамиліи, которую она всю жизнь носила съ честью.

Дилиньки въ этотъ день Шварцъ не дождался и ушелъ отъ его превосходительства крайне возбужденный. Долго бродилъ онъ въ ясный осенній день по Петрограду. Наконецъ, присълъ на скамейку противъ Зимняго дворца и глубоко задумался.

— Нъмецкая фамилія — думалъ онъ съ горечью. — Оскорбить память отца, обидъть мамочку — отречься отъ нихъ... Какъ будто бы не все равно, называться Черновъ или Шварцъ, лишь бы думать и чувствовать по русски!..

И снова выплыло наружу обидное, больное воспоминаніе. Лътній вечеръ. Тысячная толпа. Гулъ голосовъ. И незаслуженная насмъшка.

— Да нътъ, это дико... Лилинька пойметъ меня и поддержитъ противъ сумасброднаго отца... Онъ же всегда искалъ предлога, чтобы отдълаться отъ меня... Надо, во что бы то ни стало, увидъть Лилиньку!

Но увидаться съ невъстой, послъ разрыва съ отцомъ, было не такъ легко. Въ домъ прит-

ти онъ сейчасъ не могъ, а на тайное свиданье Лилинька не соглашалась.

— Меня въ Петроградъ никуда не пускаютъ одну — писала она — а всюду съ этой противной мадамъ Жюлье, маминой компаньонкой.

Далве она пеняла Шварцу за рвзкость по отношеню къ отцу и закончила письмо словами:

— Надъюсь, ты согласишься на папино предложеніе и будешь бывать у насъ попрежнему. Я очень соскучилась по тебъ...

Но Шварцъ упорно настаивалъ на свиданіи и Лилинька написала ему, что будетъ на вечеръ у общихъ знакомыхъ.

Иванъ Карловичъ вышелъ изъ дому задолго до назначеннаго часа, и бродилъ долго по покрытымъ первымъ снъгомъ петроградскимъ улицамъ.

— Теперь я увижу ее — и все будетъ хорошо — думалъ онъ. — Можетъ быть, представится даже случай проводить ее домой... Въдь я же, наконецъ, ея женихъ, офиціально! Поговоримъ, выяснимъ все и ръшимъ...

Но тамъ было такъ много гостей, что Шварцъ долго не могъ пробраться къ невъстъ. Лилинька, показалось ему, еще больше похорошьла за эти четыре мъсяца, что онъ не видълъ ея, стала еще привлекательнъй. Шварцъ проклиналъ въ душъ и хозяйку, не отпускавшую отъ себя Лилиньку, и длиннаго интенданта, вертъвшагося около нея.

И въ душъ его шевельнулось подозръніе, что Лилинька какъ будто нарочно избъгаетъ его . . .

Ему удалось поймать ее въ проходной остиной.

— Лилинька — онъ крвпко сжалъ ея тонкую ручку — нарочно ты, что ли, мучаешь меня? Неужели ты не могла отдълаться отъ нихъ, если бы хотъла? Намъ необходимо поговорить!

-- Не сердись на меня — Лилинька освободила свою руку и вскинула на него умоляюще глаза, — но я не знаю, что сказать тебъ. Противъ воли папы и мамы я не пойду... И потомъ... быть мадамъ Шварцъ не хочу я сама... Ну, перемъни фамилію, милый... Папа говоритъ, что это такъ легко...

Шварцъ смотрълъ въ ясные глаза, наивно и довърчиво глядъвшіе на него. Чувство проснулось съ новой силой. И вдругъ показались ему столь ничтожными и мелкими всъ его колебанія. Награда за жертву казалась такъ велика, такъ безконечно заманчива...

Съ его губъ чуть было не сорвалось роковое "да". Но въ эту минуту подошла ея превосходительство въ сопровождени длиннаго интенданта.

Слово осталось несказаннымъ...

На другое утро, когда Шварцъ шелъ по Невскому, не замъчая назойливыхъ сборщицъ — былъ день флаговъ — ему казалось непростительнымъ его вчерашнее минутное колебаніе.

— Нътъ, этого не будетъ — ръшилъ онъ — я не желаю подчиняться капризу взбалмошнаго старика! Только бы поговорить, какъ слъдуетъ, съ Лилинькой наединъ — и все уладится... Въдь не могла же она разлюбить меня такъ скоро . . . Это только вліяніе отца...

— Пожертвуйте, пожалуйста!

Машинально сунуль онь руку въ карманъ, и, доставая монету, мелькомъ взглянулъ на сборщицу. "Не выходившая никуда безъ компаньонки" Лилинька была въ сопровожденіи вчерашняго интенданта. Она улыбалась Шварцу, но въ улыбкъ ея было что то смущенное, фальшивое . . .

Шварцъ понялъ все . . .

Написавъ ей письмо, онъ въ ту же ночь выъхалъ въ Либаву...

Но фамилія его стала ему ненавистна...

Шварцъ прожилъ въ Либавъ почти до самаго ея занятія нъмцами, а потомъ выъхалъ въ Псковъ.

Было горячее время. Въ связи съ обнаружившимися съ болъзненной остротой недостатками въ снабженіи арміи, стали раздаваться первые голоса за мобилизацію промышленности. Шварцъ дъятельно ухватился за эту мысль. Онъ горълъ жаждой кипучей работы на пользу отечества, желаніемъ отдагь великому общему дълу силы, познанія и опытъ.

Скоро Иванъ Карловичъ сталъ душой, вдохновителемъ и двигателемъ мѣстнаго отдѣла Военно-Промышленнаго комитета. Хорошій организаторъ, онъ сумѣлъспаять и примирить различныя начала, сумѣлъ двинуть впередъ однимъ быстрымъ гигантскимъ поворотомъ общественнаго колеса все дѣло, И, дѣля время между службой и общественной работой, находилъ еще возможнымъ разрабатывать важный для военнаго дѣла проектъ.

Осенью прівхало въ Псковъ изъ Петрограда лицо, на прівздъ которого возлагали двятели ко-

митета большія надежды. Онв оправдались: комитеть получиль просимое пособіе. Но положеніе Шварца послв отъвзда лица измівнилось къхудшему. Сначала Ивань Карловичь думаль: худшему. Сначала иванъ карловичъ думалъ: ему только кажется, что его хотятъ лишить вліянія на комитетскія дѣла. Но вскорѣ подозрѣнія его оправдались. Шварца стали систематически отстранять отъ отвѣтственныхъ дѣлъ. Отнимали у него понемногу разныя функціи и, наконецъ, посадили ему на носъ невѣжественнаго, тупоумнаго и лѣниваго фабриканта Митрофанова.

пова.
Самолюбіе Шварца было чрезвычайно задѣто. Онъ, скрыпя сердце, порваль съ комитетомъ, отдавшись всецьло окончанію проекта.
Больно, безумно больно было видыть, какъ дъло, двинутое его трудами, взлельянное его стараніями, глохо и вянуло подъ руководствомъ бездарнаго Митрофанова...

Къ концу сентября проектъ былъ законченъ и Шварцъ повезъ его въ Ригу, гдѣ у него были знакомства въ военныхъ кругахъ.
По дорогѣ онъ завтракалъ на какой то большой станціи. Мимо его стола, не замѣчая его, прошелъ фонъ Цедеръ.

— Фонъ Цедеръ! — воскликнулъ Шварцъ,

обрадовавшись старому знакомому.

Но тотъ состроилъ гримасу и, схвативъ
Ивана Карловича за рукавъ, отвелъ его въ сторону.

— Пожалуйста, не называй меня такъ. Теперь моя фимилія Даниловъ. И зовутъ меня не Генрихъ, но Андрей Андреевичъ... Пожалуйста, не забудь!

— Перекрасился, значитъ? — съ легкой

ироніей спросиль Шварць — Даниловъ! Даниловъ — который по русски то и говорить какъ слѣдуетъ не умѣетъ! Ну, а какъ относится къ этому твой отецъ?

— Отецъ мой — благоразумный человъкъ и дълаетъ уступку времени... Фонъ Цедеръ сейчасъ не въ модъ, а Даниловъ занимаетъ хорошее мъсто. О, Даниловъ пойдетъ въ гору, сдълаетъ карьеру! — цинично хвастался онъ.
Шварцу стало такъ гадко, что онъ поспъ-

шилъ проститься съ товарищемъ...

Шварцъ шелъ по тихимъ улицамъ заснувшей Риги.

Давно ли эдъсь била ключемъ культурная жизнь, давно ли нарушалъ тишину шумъ фабрикъ, гулъ трамваевъ, приносившихъ и уносив-шихъ новыхъ людей? Давно ли стояли въ порту ряды пароходовъ, а скрипучія стрълы обильно вы-брасывали на камни набережной иноземные то ваоы?

Теперь — мертвая пустыня...

И вдругъ среди соннаго царства пробъжала живая струя. Заволновались прохожіе. Открылись и съ шумомъ захлопнулись окна. Извозчикъ быстръе погналъ свою клячу.

И глаза всъхъ со страхомъ и любопытствомъ устремились вверхъ, гдъ, шаряя въ лазури, кружилась надъ соннымъ городомъ зловъщая

птица.

Зоркимъ хищнымъ окомъ смотръла она внизъ, горя жаждой крови и ненасытной мес-

ти . . .

— Прячьтесь въ ворота, прячьтесь въ домъ! — крикнулъ кто то Шварцу, безмолвно слъдившему за полетомъ жуткой гостьи.

Ръзкій свистящій духъ Взрывъ стеколъ	звукъ прорѣзалъ воз- Дребезжаніе разбиты:
И стоны стоны	
· · · · · · · · · · · ·	

- Много пострадавшихъ?

- Много пострадавшихы
 Двое раненыхъ. Одинъ убитъ.
 Извъстно, кто?
 Какой то инженеръ Шварцъ.
 Нъмецъ? Туда ему и дорога...

Джэкъ Байрменъ.

Яковъ Густавовичъ Бейерманъ, или, какъ онъ сталъ называть себя по прівздв въ Америку — Джэкъ Байрменъ — принялъ извъстіе о начавшейся въ Европъ войнъ вполнъ равнодушно.

За четыре года, проведенныхъ въ Нью-Іоркъ, онъ почти утратилъ всякую связь съ своей родиной — Россіей. Политикой Байрменъ вообще никогда не занимался. Онъ пріъхалъ въ Америку, "чтобы сковать свое счастье" и преслъдовалъ свою цъль съ нъмецкой методичностью, унаслъдованной отъ отца.

Въ Россіи у него остались родные. Въ Либавѣ его дряхлый отецъ со своей сварливой молодой женой, въ Петроградѣ — сестра, ушедшая, какъ и онъ, изъ дому послѣ неосмотрительной женитьбы отца. Съ этой только сестрой, Катей, Джэкъ и велъ переписку, отъ нея узнавалъ вѣсти о родныхъ и родинѣ.

Были у него еще замужнія сестры, двоюродные братья— но всѣхъ ихъ онъ потеряль изъ виду.

Европейская война, сразу развернувшаяся

лярной не сразу. Джэкъ интересовался ею тоже не больше, чъмъ всъми иными телеграммами нью-іоркскихъ газетъ. И сообщенія съ фронта были ему такъ же безразличны, словно это были свъдънія о чемъ то, что стояло отъ него безконечно далеко.

Первымъ, что напомнило ему о связи съ родиной, было письмо отъ Кати.

Отъ восторженныхъ, горячихъ фразъ повъ-яло тъмъ порывомъ, что охватилъ, въ первые мъсяцы войны, всю Россію, въсть о которомъ залетъла даже за океанъ. Въ отрывочныхъ фразахъ набросала она картину русскихъ настроеній, манифестацій, подъема. Писала, что бросаетъ мъсто и идеть въ сестры милосердія.

Далье шла грустная страница о сестръ

Лидіи.

— Ея мужъ, какъ ты знаешь, — германскій подданный. Онъ высланъ теперь въ Сибирь. И Лида слъдуетъ за нимъ. Уже не говоря про точто это поступокъ, недостойный русской женщины . . . Но ея хрупкое здоровье? Она никогда не перенесетъ суроваго сибирскаго какъ мата!

Кончала свое длинное письмо Катя поизывомъ броситъ все, вернуться на родину и запи-

саться въ ряды арміи.

Послѣдняя фраза показалась Джэку такой дикой и наивной, что онъ долго улыбался, вспоминая ее. Онъ, впрочемъ, всегда считалъ Катю экзальтированной головкой...

Черезъ нъсколько недъль пришло другое письмо, которое тоже разсмъшило Джэка. Это

было письмо изъ Берлина, отъ его двоюроднаго брата, Отто, съ которымъ они раньше изрѣдка переписывались. Со всѣмъ пыломъ своихъ восемнадцатилътъ,Отто писалъ о томъ, какъ счастливъ онъ, что успѣлъ во время вернуться въ Германію. Въ концѣ письма Отто выражалъ увѣренность, "что симпатіи благоразумнаго Якоба, конечно, всецѣло на сторонѣ культурной націи—германскаго народа, кровь котораго течетъ въ его жилахъ."

Приписка эта и разсмъшила Джэка. Нъмецъ по отцу, Джэкъ, какъ и всъ его сестры, былъ воспитанъ въ русскомъ духъ, самъ считалъ себя русскимъ. Впрочемъ, мягкій и впечатлительный, онъ легко поддавался вліянію окружающей среды. Теперь онъ давно считалъ себя американцемъ.

Связь съ Россіей продолжала поддерживаться только перепиской съ Катей. Но послъдняя, занятая на фронтъ, писала теперь ръдко и урыв-

ками.

Ранней весной получиль Джэкъ болье длинное письмо. И грустное, грустное . . Слъды слезъ на письмъ были красноръчивъе словъ, сообщавшихъ о смерти Лиды, не перенесшей сибирскаго климата... Дальше слъдовала исторія, похожая на романъ. Въ одномъ изъ раненыхъ плънныхъ узнала Катя кузена Отто.

— Какъ ожесточаетъ людей война — ты никогда не узналъ бы въ этомъ мрачномъ германцъ твоего любимца — весельчака Отто...

Раненый не вынесъ операціи и умеръ черезъ

два дня...

Объ грустныя новости принесло одно и то же письмо...

Въ началъ войны въ Америкъ преобладало германофильское теченіе. И только мало - по малу въ прессъ начали появляться статьи, сочувствующія Согласію. Атмосфера въ Соединенныхъ Штатахъ стала сгущаться. И громомъ, разрядившимъ эту атмосферу, была гибель "Лузитаніи"...

Но въ тъ дни, когда Америка начала просыпаться отъ германофильскаго, сна Λ жэкъ лежалъ безъ памяти въ больницъ. А когда онъ, перенеся тяжелую бользнь, вышель оттуда - острота момента уже прошла, и ему, отсутствова-вшему при началь, были чужды н непонятны окружавшія его настроенія.

Въ концъ лъта пришло короткое письмо отъ Кати. Она сообщала, что въ сентябръ призывается очередь его года, давала различные практическіе совъты и заканчивала выраженіемъ надежды, что они скоро свидятся. Она собиралась взять отпускъ, чтобы повидаться съ отцомъ, который бъжаль изъ Либавы въ послъднюю минуту передъ занятіемъ ея германцами:

— Папа очень боленъ — писала она — и Богъ знаеть, увижусь ли я съ нимъ еще, если не удастся теперь... Конечно, ему тяжело: онъ, все-

таки нѣмецъ...

По тону Катина письма было видно: и въ голову не приходитъ, что Джэкъ можетъ не прівхать...

— Я? — удивился Джонъ — я бълобилет-

никъ. А что?

[—] Ты призыва котораго года? — спросиль онъ вечеромъ товарища Джона, съ которымъ пять льть тому назадъ прівхаль въ Америку.

[—] Да вотъ, меня призываютъ въ сентябръ — натянуто засмъялся \dot{A} жэкъ.

— Когда же ты ѣдешь?

Джэку стало непріятно. Почему они всь, и сестра, и вотъ Джонъ думаютъ, что онъ женъ непремънно ъхать?

— Зачъмъ я поъду? — отвътилъ онъ, избъгая взгляда Джона — бросить все, что было построено съ такимъ трудомъ пятью годами непрерывной работы? И карьеру, и связи...

— И миссъ Бетси — насмъщливо добавилъ

Джонъ.

— Да, и миссъ Бетси... Мою невъсту... Я не понимаю смысла этого. Въдь если я останусь живъ, мнъ придется начинать все сначала... Я не хочу возвращаться въ Россію вообще. Зачьмъ? Я останусь здъсь, приму американское подданство, женюсь на Бетси... Что я буду дълать тамъ на фронтъ? Я могу встрътить въ рядахъ враговъ двоюродныхъ братьевъ... Нътъ, я останусь здъсь... Въдь я тоже приношу сейчасъ пользу Тройственному Согласію... — нашъ заводъ обслуживаетъ военные заказы Россіи и Франціи... Ты не можешь этого отрицать...

Но Джонъ и не думалъ ничего отрицать. Джекъ горячился, оправдываясь передъ самимъ собой, а Джонъ молчалъ. Онъ не былъ красноръчивъ. Но молчание это раздражало Джека больше, чъмъ если бы тотъ говорилъ самыя обид-

ныя слова...

Больше писемъ отъ Кати не было.

Послъ Рождества состоялась свадьба Джека съ хорошенькой Бетси Горнлей, дочерью его ближайшаго начальника, директора завода, на которомъ онъ работалъ. Бетси, хорошенькая куколка, хрупкая, какъ фарфоръ, была мало похожа на тъхъ неженственныхъ, бойкихъ передовыхъ миссъ, по которымъ у насъ привыкли судить объ американской женщинь. Она поинадлежала ко второму, такъ же распространенному въ Соединенныхъ Штатахъ типу — къ изящнымъ образованнымъ женщинамъ, которыя, будучи уже въ шестнадцать лътъ совершенно самостоятельными, сохраняютъ въ замужествъ какую то оригинальную, только имъ однъмъ присущую наивность. Вънчались онъ послъ мэріи въ посольской

Вътчались онъ послъ мэріи въ посольской православной церкви, маленькой, чистенькой, словно игрушечной. Это было не столько желаніе Джека, сколько капризъ его Бетси, хотъвшей,

чтобы свадьба была оригинальной.

Пять льтъ, съ тъхъ поръ, какъ покинулъ онъ Европу, не былъ Джекъ въ церкви. И она

напомнила ему далекую родину...

Живо-живо пронеслись передъ нимъ картины беззаботнаго дътства. Давно умершая мать... То далекое время, когда ихъ, дътей, несмотря на частые капризы отца, считавшаго это лишнимъ, водили каждое воскресенье въ церковь... Великопостныя службы со свъчами... Й Свътлая заутреня... Впослъдствіи когда вспоминался Джеку день его свадьбы, онъ всегда вспоминаль эту игрушечную церковь. Съ свътлымъ и теплымъ чувствомъ...

Потянулись свътлые дни медоваго мъсяца. Какое дъло было Джеку до того, что родной его городъ былъ подъ властью непріятеля. Что отецъ его умеръ. Что вся родная земля за-

лита кровью.

Его жизнь была въ этихъ голубыхъ любящихъ глазахъ, его счастье было въ этомъ розовомъ ротикъ, такъ мило улыбавшемся, произнося ласковыя слова...

Незамътно подошло и Свътлое Христово Воскресеніе. День, заграницей отличающійся такъ мало отъ другихъ праздниковъ, такъ мало напоминающій нашу русскую Пасху, побъдно шествующую при звонъ колоколовъ... Нью-lоркъ

по старому симпатичному обычаю утонуль въ цвътахъ. Пасха въ Америкъ — праздникъ цвътовъ, какъ у насъ, въ Россіи— Троицынъ день... И въ этотъ ясный солнечный день Джэкъ вспомнилъ прежнія Пасхи—тамъ, на родинъ.
— Въ Россіи Пасха — черезъ двъ недъли—

сказаль онъ женв.

— Пойдемъ на нашу Пасху въ церковь предложиль онъ.

И Бетси, какъ дитя, ухватилась радостно за необычную мысль - провести ночь въ цер-

Черезъ двъ недъли стояли они снова въ чистенькой игрушечной церкви, гдъ вънчались полгода назадъ. Залитъ огнями былъ маленькій храмъ. И радостно, и знакомо эвучало побъдное "Христосъ Воскресе", выводимое свъжими, чистыми, но не совствить русскими голосами.

Но не было на душъ Джэка того мира, что овладъваетъ каждой душой въ эту великую ночь.

Тяжелый камень лежаль у него на сердцъ.

Утромъ онъ получилъ письмо отъ Кати первое въ этомъ году. Упомянувъ кратко, что была долго больна сыпнымъ тифомъ, которымъ заразилась въ лазареть, Катя съ болью и грустью писала о томъ, что потеряла брата.

— Человъка, который въ трудную минуту оставилъ свое отечество - своимъ братомъ счи-

тать я не могу...

Катя около двухъ лътъ прожила на фронтъ. Тамъ привыкаютъ смотръть на вещи иначе, чъмъ въ глубокомъ тылу. Да, конечно... И все таки, безпокоила Джэка впервые пришедшая въ голову мысль:

— Былъ ли я правъ?

Представилась Катя. Больная, измученная, забольвшая при самоотверженномъ уходь за ранеными И сами эти раненые... Солдаты, сидящіе въ окопахъ.. И бізженцы, у которыхъ ність

ни крова, ни пищи...

Представилось все это - и подъ звуки насхальнаго канона, въ ярко освъщенной праздничной церкви — стало внезанно стыдно.. Стыдно за свою сытую, довольную и спокойную жизнь... И все, что вчера еще казалось значительнымъ и важнымъ, — стало внезапно пустымъ и ненужнымъ...

Разсвътало, когда шли они по безлюднымъ въ этотъ часъ нью іоркскимъ улицамъ. Бетси, усталая отъ непривычнаго стоянія, безсильно оперлась на его руку и молчала. Но такси брать, изъ каприза, не хотъла. И Джэкъ былъ радъ, что она молчитъ, не нарушая его мыслей.

Нерадостныхъ... Не пасхальныхъ... Наступалъ день—обычное воскресенье. Попадались навстръчу парочки, возвращавшіяся съ бала. Нетвердыми шагами проходили завсегдатаи клубовъ. Проъзжали отдъльные такси Огромный городъ готовился жить. И было какъ то обидно, что нътъ дъла большому городу до того, какой великій день приносить съ собой эта заря...

Усталая Бетси еле успъла раздъться, какъ

уже забылась здоровым дътским сномъ.

А Джэкъ сидълъ въ кабинетъ и читалъ, и перечитывалъ послъднее Катино письмо...

Разсвътныя тучки разошлись, и изъ за обла-ковъ выплыло яркое пасхальное солнце. Загля-нули его лучи въ кабинетъ, гдъ сидълъ и писалъ что то Джэкъ, побъжали дальше. Медленно обогнули домъ и съ южной стороны посмотръли въ полдень въ спальню. Отмахнулась Бетси отъ назойливаго луча. Но, видя, что не прогнать безпокойнаго гостя, вскочила, набросила легкій капотъ, подбъжала къ окну и совсъмъ отдернула штору. Яркій солнечный свътъ залилъ всю комнату. Вспомнила Бетси вчерашнюю ночь, оглянулась на нетронутую постель мужа, и прокралась кь нему въ кабинетъ.

Подошла къ Джэку сзади и, наградивъ его неожиданнымъ поцълуемъ, ясно произнесла по русски, какъ училъ ее мужъ:

— Хоистосъ Воскоесе!

Грустно подняль Джэкъ свои сърые глаза, и, отвътивъ на поцълуй, взялъ своими руками ея тонкія ручки и произнесъ, тихо, но твердо:

-- Бетси . . я долженъ уъхать . . въ Рос-

сію . . .

Сочельникъ въ океанъ.

Глухо шумитъ море.

Черныя волны, налетая въ темнотъ одна на другую, съ плачемъ и стономъ отбъгаютъ назадъ. Вътеръ завываетъ произительно и печально, лъниво отгоняя тяжелыя, мрачныя тучи.

ниво отгоняя тяжелыя, мрачныя тучи.
О чемъ плачетъ море? О чемъ тоскуетъ вътеръ, прилетъвшій съ холодныхъ льдовъ съ-

вернаго полюса?

Не блеснетъ, какъ бывало, длинной лентой лучъ маяка, не видать на темномъ горизонтъ ни зеленаго, ни краснаго пароходнаго огня. Даже звъзды—итъ скрыты сердито нависшими тучами.

Темно. И въ темнотъ глухо рокочутъ чер-

ныя воды.

Плавно покачиваясь на высокихъ гребняхъ, спитъ огромный океанскій пароходъ. Зачѣмъ онъ столько часовъ стоитъ неподвижно въ открытомъ морѣ? На немъ нѣтъ огней. На немъ тишина. И только черныя фигуры, мелькающія изрѣдка на обледѣнѣлой палубѣ, указываютъ, что не умерла жизнь въ этомъ гигантѣ...

Въ салонъ второго класса, окна которато плотно задвинуты деревянными ставнями, при колодномъ свътъ электричества собрались немногіе пассажиры. Говорили о разныхъ вещахъ, больше всего, конечно, о войнъ. Впрочемъ, за двъ недъли совмъстнаго плаванія эти, дотолъ чужіе и неинтересные пругъ другу, люди такъ свыклись между собой, что знали подноготную каждаго изъ членовъ этой маленькой случайной

колоніи. Такт, всёмъ было извёстно, что хоро шенькая блондинка, сидъвшая сейчасъ у рояля, прослужила три года компаньонкой въ какомъ то богатомъ нью-іоркскомъ домъ, а теперь возвращается въ Петроградъ, къ роднымъ.

Богатый еврей Іоэльсонъ ъздилъ, по дъ-

Богатый еврей Іоэльсонъ вздиль, по дыламь своей либавской фирмы, въ Бостонь, а теперь, напуганный бомбардировкой Либавы, воз-

вращается туда.

Знали про всвхъ — кто, откуда и зачвмъ возвращается изъ Новаго Сввта въ Россію. Только про двухъ пассажировъ на знали ничего — про черноглазую дввушку въ траурв, всегда державшуюся въ сторонв, и про бледнаго молодого человъка, целый день рисовавшаго что то въ своемъ блокнотв. Молодой человъкъ говорилъмного и о чемъ угодно — только не о себв. Дввушка вообще ни съ къмъ не говорила, и изъ уваженія къ ея трауру, ея не разспрашиваль никто. Да она и мало бывала въ салонв, предпочитая сидвть у себя въ каютв или, несмотря на холодъ, стояла часами на палубв, задумчиво глядя на сврое море...

Оживленный разговорь, какъ это часто бываетъ въ большомъ обществъ людей, которые давно надоъли другъ другу, оборвался. И вдругъ молодой человъкъ, оторвавшись отъсвоего блокнота сказалъ:

— А въдь сегодня, господа, сочельникъ!

Всв знали это, но никто какъ то не думалъ сейчасъ о наступлении Великаго праздника, среди этихъ однообразныхъ дней, похожихъ одинъ на другой, какъ двв морскія волны . . . И такъ грустно стало всвмъ при словв "сочельникъ"...

И всв почти враждебно посмотрвли на молодого человвка, сказавшаго неосторожное слово.

А онъ сидълъ и смущенно улыбался.

--- Сочельникъ...

Это слово пробудило въ душъ каждаго что то, понятное только ему одному, и на мигь всъ люди стали опять чуждыми — сов вмъ чуждыми другъ другу...

Каждый перенесся мыслями въ далекую Россію, берега которой были еще скрыты

гими милями воднаго пространства...

— Къ Новому году будемъ въ Россіи— ска-залъ пожилой господинъ, задумчиво глядя куда то въ уголъ.

— Не будемъ, конечно, не будемъ — заволновался Іоэльсонъ — день такой короткій, а

ночью мы стоимъ — безобразіе!

- А у насъ дома теперь елка горить мечтательно сказала блондинка и покраснвла, словно ей показались глупыми ея собственныя слова.
- Три года не были дома? спросила ее съдая дама, сидъвшая съ какимъ то вязаньемъ.

— Тои года...

И опять молчаніе.

Дверь салона съ шумомъ растворилась и на порогъ показался широкоплечій, краснощекій, страшно некрасивый, но веселый и остроумный первый помощникъ капитана, любимецъ всъхъ пассажировъ.

- Честь имъю поздравить честную компанію съ наступающимъ праздникомъ! — гаркнулъ онъ и весело обвель глазами присутствующихъ.

— Фу, господа, это не фасонъ! Праздникъ наступаетъ, а они меланхолію разводятъ. Ну нътъ, этого допустить я не могу. Это позоритъ честь нашего "Двинска". Господа, прошу вась, сдълайте мнъ удовольствіе — развеселитесь! — прибавиль онъ съ комическимъ возмущеніемъ.

Всь улыбнулись, только Іоэльсонъ пожалъ

плечами и сказалъ:

- Вамъ хорошо говорить "развеселитесь". А вотъ вы позаботились бы о томъ, чтобы поскоръй доставить насъ въ Россію вотъ и развеселились бы.
- Что же прикажете дълать? Аэропланъ что ли заказать для васъ, господа пассажиры?
- Аэропланъ, аэропланъ... Мы ѣдемъ пароходомъ, а не аэропланомъ. А вотъ зачѣмъ вы всю ночь стоите на мѣстѣ это безобразіе. Да. Такой большой пароходъ, и не можетъ итти ночью это стыдно! У насъ въ Либавѣ буксиры и тѣ ходятъ ночью... Да.. Мнѣ, можетъ быть, каждый моментъ дорогъ, а они стоятъ цѣлыми ночами на мѣстѣ. Я бралъ билетъ, чтобы ѣхать, а они стоятъ...

Іоэльсонъ раздражался все больше. Но помощникъ капитана разразился веселымъ хо-

хотомъ.

- Ахъ вы проговориль онъ, наконецъ Вотъ васъ бы туда, на мостикъ .. Сразу наскочили бы на мель или камни. Или поздоровались бы съ ледяной горою. . . И было бы второе, дополненное и исправленное, изданіе "Титаника". Такъ что ли?
- "Титаникъ"... Глупыя шутки... возмутился фабрикантъ, глядя куда то въ темный уголъ.
- Вы бы провхались съ нами лвтомъ до войны продолжаль дразнить его помощникъ живо бы васъ доставили! Иной разъ изъ Либавы въ Нью-Іоркъ одиннадцать дней ходили, да-съ . . .
- Скажите, неужели всв огни въ европейскихъ водахъ теперь потушены?—спросилъ пожилой господинъ.
- Да, почти вездѣ... Вчера вечеромъ прошли послъдній — который горитъ...

- Вамъ, конечно. не впервые встръчать Рождество въ моръ? спросила старая дама. Ну, еще бы улыбнулся морякъ Это шестнадцатое Рождество и двънадцатый Новый Годъ.. А на Пасху былъ въ моръ восемь разъ... На Рождествъ еще туда-сюда, а въ Пасхальную ночь обидно бываетъ . . . Ну, да что
- Неужели вы такъ свыклись съ своей судьбой? - спросила блондинка.

— И еще какъ!

- И не скучаете по родинъ и роднымъ?
 Моряки космополиты! отвътилъ сидъвшій поодаль красивый господинъ.
- Ну ужъ это извините, милостивый государь — обидълся вдругъ морякъ. — Космополиты! Конечно, морякъ не можетъ любить свою родину по вашему, онъ любить ее иначе, но это не значить, что онъ къ ней равнодушенъ вообще! Онъ всю жизнь свою скитается отъ города къ городу, отъ океана къ океану... Онъ не можетъ скучать по своему родному городу, точно какая нибудь институтка. А вы думаете, отъ этого онъ меньше любить ть мъста, гдь онь родился, свой языкъ, свою культуру, свой народъ?
- даождом фхилони фурма Сабор и от в поряков и от поряк продолжалъ красивый господинъ, по моему это особая нація. Да, да не улыбайтесь этому парадоксу. Морякъ англичанинъ, итальянецъ, японецъ, наконецъ, — всегда ближе русскому моряку, чъмъ русскій — ну скажемъ, чиновникъ... Вы скажете, что я не правъ?
- Отчасти да согласился морякъ. Но посмотовли бы вы на моряковъ теперь. Сколько изъ насъ ушло добровольцами на войну!
 — А у васъ никого нътъ на войнъ? Въдь

вы семейный?

— У меня нътъ сыновей — три дочери, же-

на... да мать еще жива... въ Саратовъ... Хорошо тамъ, особенно лътомъ... ей Богу, хорошо! Шесть лътъ дома не былъ... Матери не видалъ... Вотъ, жена съ дочками пріъзжаетъ иногда въ Либаву побидаться. Нътъ, на войнъ у меня никого нътъ... И то иной разъ думаю — пойти что ли самому?

— Такъ отчего же вы не идете? — тихо спросила барышня въ трауръ, первый разъ вмъшавшись въ разговоръ. И вопросъ ея прозву-

чалъ упрекомъ.

— Малодушіе, барышня, вотъ что-съ!.. Мать — старушка, она бользненная, ей на воды нужно... За трехъ дочерей въ гимназію платить. Уйду на войну — бросятъ гимназію, всъхъ то не пристрочшь на стипендію... Мъста взять придется... А какъ будто бы и жалко прервать ученіе... Способныя онъ у меня,... Особенно старшая... Ей всего годъ учиться остался... Конечно, все это сентименты — а все же жалко...

И морякъ отмахнулся рукой, словно желая

скоыть набъжавшую слезинку.

— Ну тамъ, на фронтъ, и безъ насъ съ вами людей довольно — важно вставилъ Іоэльсонъ.

— Безъ насъ съ вами, безъ насъ съ вами! — вспылилъ вдругъ морякъ — если бы всѣ разсуждали такъ, такъ и воевать было бы некому!

 Господа, бросьте ссориться въ такой вечеръ — примирительно замътила дама съ вязаньемъ.

Такой вечеръ — а тамъ убиваютъ другъ

друга — пробормотала дъвушка въ трауръ.

— Да что я въ самомъ дълъ — спохватился вдругъ морякъ — въдь я поинесъ вамъ радостныя въсти: наши тъснятъ нъмцевъ! У непріятеля огромныя потери.

- Огкуда вы знаете, по безпроволочному

телеграфу что ли?

Всв какъ то сразу оживились.

— О, нътъ, нашъ безпроволочный телеграфъ, заработаетъ только по окончании войны. Это въ мирное время мы каждый день получали новости для нашей пароходной газеты. Нътъ, господа, у меня газеты — почти что совсъмъ свъженькія!

Откуда? Какъ? Давайте скорѣе!

И множество рукъ потянулись къ печатнымъ листамъ, которые морякъ торжественно извлекъ изъ необъятнаго кармана.

— Съ англійскаго крейсера, который остано-

вилъ насъ подъ вечеръ.

Англійскія — разочарованно протянулъ

красивый господинъ въ углу.

 Да въдь вы всъ знаете англійскій языкъ. О нътъ, такъ нельзя, на всъхъ у меня не хватитъ!
— Читайте вслухъ — вы, навърное, читасте

отлично — предложила дама съ вязаньемъ.

— Извольте. Съ чего прикажете начать?

— Сначала свъдънія съ восточнаго фронта.
— А потомъ про германскія звърства. Ужасно люблю слушать эти сказки, — сказалъ юэльсонъ,

поудобнъе усаживаясь въ креслъ.
— Это не сказки, милостивый государь! ръзко сказала барышня въ трауръ и вышла изъ салона.

Художникъ тоже всталъ. Онъ съ минуту колебался. Ему хотълось слышать новыя въсти, но красивая сосъдка (ихъ каюты были напротивъ) въ настоящую минуту интересовала его больше. Ея личико и ея силуэтъ были набросаны за по-слъдніе дни, навърное, на пяти, если не шести страничкахъ его блокнота.

Дъвушка въ трауръ стояла, облокотясь на релингъ, и смотръла въ черную тъму зимняго моря.

- Вы простудитесь сказаль художникъ, который не преодолваль искушенія и послъдоваль за ней.
- Я въ платкъ—отвътила она и прибавила—она все еще читаютъ о войнъ?
 - *Д*а...
 - Я не хочу слушать этого...
- У васъ кого нибудь убили? Простите этотъ вопросъ...

Дъвушка подняла на него свои грустные глаза.

— Жениха. Онъ умеръ въ страшныхъ мученіяхъ — быль раненъ разрывной пулей . . . А мой братъ лежнтъ при смерти въ лазаретъ: пострадаль отъ ядовитыхъ газовъ... Можетъ быть, онъ тоже уже умеръ... А они тамъ говорятъ: нътъ звърствъ...

Она наклонилась надъ водой и стала сосредоточенно смотръть на ударявшіяся объ обшивку мелкія бълыя льдинки, свътившіяся въ темнотъ.

Небо было облачно, и только въ просвътахъ между быстро гнавшимися облаками вспыхивали — и снова скрывались — зимнія крупныя звъзды . . .

ды . . .

Художникъ хотълъ что то сказать — но всъ слова показались ему вдругъ блъдными и неумъстными передъ лицомъ этого гордаго, безмолвнаго горя. И онъ только пробормоталъ — какъ будто чувствовалъ себя обязаннымъ сказать это:

— Я... тоже ѣду... чтобы поступить въ дѣйствующую армію... Такъ... такъ нельзя...

Онъ не докончилъ своей мысли.

Она не отвътила.

И въ нъмомъ молчаніи, прислушиваясь къ разсказамъ темнаго моря, разсказывавшаго что то печальное, напоминавшее такъ мало о великомъ вечеръ, царившемъ надъ міромъ, улетъли они оба мыслями къ берегамъ своей родины, еще скрытымъ далеко, далеко за горизонтомъ...

Мой женихъ Мирко.

Вечеръло.

Въ окна вагона глядъли сърыя осеннія сумерки. Капли дождя ударяли по стеклу, мъшая разглядъть унылыя сжатыя поля, ръдкіе мокрые скирды и темную убъгающую линію лъса.

Огня еще не зажигали.

Въ купэ насъ было двое. Барышня въ трауръ и я. И, какъ это часто бываетъ въ дорогъ, съ людьми, увидавшими другъ друга въ первый разъ, которые знаютъ, что черезъ нъсколько часовъ разойдутся — и врядъ ли встрътятся еще когда либо, а если вчтрътятся, не узнаютъ другъ друга — она разсказала мнъ, чужому человъку, свое горе.

Я пробовала себя утвшать мыслью, что вду въ родную славянскую страну, о которой

[—] Я вернулась въ Россію съ мѣсяцъ тому назадъ — начала моя собесѣдница. — Когда я, семнадцатилѣтней дѣвушкой, ѣхала съ отцомъ въ Болгарію, — я казалась себѣ несчастнѣйшимъ существомъ въ мірѣ. Я только что кончила гимназію. Весь послѣдній годъ я только и жила мечтами о предстоящей свободѣ. О балахъ, концертахъ, театрахъ — о всей той блестящей свѣтской жизни, которой манитъ и зачаровываетъ Петербургъ. И вдругъ, вмѣсто этого — какая то Софія, рисовавшаяся въ моемъ воображеніи похожей на Тулу, гдѣ мы бывали лѣтомъ проѣздомъ въ имѣніе

такъ много и горячо разсказывалъ намъ, восьмиклассницамъ, красавецъ — учитель исторіи Въ котораго мы были всъ влюблены . . . Поголовно . . .

Но увы — это было слабое утвшеніе... Подъвзжали мы къ Софіи дождливымъ днемъ, Грязныя узкія улицы, склизкія ствны домовъ, недовольныя лица прохожихъ, укрывавшихся подъ зонтами - вотъ было мое первое впечатавніе о "родной славянской земав"... Довольно безотрадная картина!

Но въ семнадцать лѣтъ быстро привыка-ешь ко всему. Я вскорѣ увидѣла, что въ Софіи можно повеселиться не хуже Петербурга У насъ въ посольствъ было много молодежи, и мы быстро познакомились съ софійскимъ обществомъ. Первая зима протекла совсъмъ незамътно. Когда прошелъ первый угаръ свободы, исчезла острота новыхъ ощущеній, я начала впрочемъ замъчать пустоту и пошлость окружающихъ меня людей. Все остыло какъ то очень быстро. Во всъхъ, кто въ началъ казался мнъ такими милыми и славными, - я увидъла теперь только легкомысленныхъ фатовъ, пустыхъ свътскихъ болтуновъ...

Я всегда была немного серьезна. Искала чего нибудь особеннаго...

Красиваго и увлекательнаго. И рой моихъ свътскихъ поклонниковъ дать мив этого не могъ...

Въ это время я познакомилась съ Мирко, сыномъ одного бывшаго министра. Онъ только что окончилъ московскій университетъ, и вернулся весной въ Софію. Мирко былъ красивый брюнетъ, стройный, умный, жизнерадостный.

Мы полюбили другь друга...

Между нами никогда не было разногласій. даже въ мелочахъ. Характеры, взгляды и убъжденія — все удивительно гармонировало у насъ. Ни одинъ споръ не омрачалъ никсгда нашей дюбви — моего перваго серьезнаго чувства.

Какъ дочь дипломата, я не могла, конечно, не интересоваться политикой. И замізчала, какъ постепенно стало измъняться отношение болгаръ къ Россіи. Особенно же это стало проявляться съ тъхъ поръ, какъ началась эта ужасная нъмецкая война...

Мирко быль ярый руссофиль. Проведшій лучшіе годы своей юности въ Россіи, онъ, есте-ственно, не могъ не любить ея Возводилъ въ какой то культъ все русское и страстно ратоваль за выступленіе Болгаріи на сторонъ Согласія.

А германофильское теченіе въ странъ все росло. Когда же капризный богъ войны отвернулся отъ Россіи и озарилъ улыбкой ея враговъ, "руссоядцы" подняли голову и стали громче выражать солидарность съ центральными державами.

Что то назръвало и готовилось. Ужасный случай въ Казино былъ первымъ реальнымъ фактомъ, свидътельствовавшимъ объ этомъ броженіи. Я не была на маскарадъ, но Мирко былъ тамъ и передалъ мнъ потомъ всъ подробности. Мнъ казалось, что онъ зналъ объ этомъ больше, чъмъ говорилъ... Но я не стала его разспрашивать.

Отецъ давно узналъ о нашей любви, и свадьба наша была дъломъ оъшенымъ. Но теперь онъ

робоваль отговаривать меня.

— Если ты выйдешь замужъ за Мирко, ты станешь въдь болгарской подданной. А если Болгарія выступить противъ Россіи? Я смъялась надъ предупрежденіями отца, а Мирко возмущался до глубины души: онъ слиш-

комъ въримъ въ честность своего народа.

— Молчите лучше! — говориль онь ръзко моему отцу — неужели вы считаете насъ, болгаръ, лишенными всякаго политическаго смысла, всякаго нравственнаго чувства? Пойти противъ Россіи, имя которой свято для каждаго болгарина, противъ Россіи, которая кровью своей создала независимое Болгарское государство!

Германское золото можетъ плѣнить своимъ звономъ и блескомъ малодушнаго, можетъ купить нашихъ правителей, и безъ того чуждыхъ болгарскому народу, но не можетъ купить всей націи! Развѣ болгары слѣпы, чтобы, забывши недавнюю турецкую кабалу, броситься въ еще худшую кабалу — нѣмецкую? Нѣтъ, мы осуществимъ свой національный идеалъ, даже если для этого придется перешагнуть черезъ трупы тѣхъ, кто самовольно всталь у государственнаго кормила!

Онъ не былъ дипломатомъ, мой Мирко! Онъ былъ только горячій идеалистъ и върилъ въ благородство своей націи...

Но мой отецъ быдъ старый дипломатъ, и онъ только грустно качалъ головой, слушая восторженныя ръчи молодого человъка...

Атмосфера сгущалась все больше и больше. Уклончивые отвъты на предложенія Согласія, договоръ съ Турціей о Дедеагачской жельзнодорожной линіи, о каторомъ кричали всь газеты, — все это заставляло моего отца задумываться все больше и больше.

Что съ свадьбой приходилось повременить, было ясно само собой.

Не одни дипломаты предчувствовали событія. Смутная тяжесть ощущалась всъми...

Была объявлена мобилизація. Дни ея были какимъ то мрачнымъ кошмаромъ. Надо было видъть этихъ солдатъ — унылыхъ, равнодушныхъ, не знавшихъ, куда и противъ кого ихъ погонятъ...

не знавшихъ, куда и противъ кого ихъ погонятъ... Германофильскія газеты усердно муссировали слухи о германскихъ побъдахъ, о несогласіяхъ между союзниками. Велась усиленная агита-

ція противъ Сербіи.

Второго сентября быль получень въ Софіи ультиматумь русскаго правительства. Намъ были

даны соотвътствующія инструкціи

Болгарія никогда не дастъ удовлетворительнаго отвъта — говорилъ отецъ и вельлъ мнъ за-

годя готовиться къ отъвзду.

Грустно обходила я комнаты, гдъ прожила пять счастливыхъ лътъ. Теперь, наканунъ вынужденнаго отъъзда, опостылъвшая было Софія казалась мнъ родной и безконечно любимой.

Мирко не показывался нъсколько дней. Онъ сталъ за послъднее время очень молчаливымъ. Я чувствовала, что онъ что то скрываетъ.

Мирко пришель въ тотъ день, когда быль посланъ отвътный ультиматумъ. Мнѣ не могло не броситься въ глаза его крайнее возбужденіе. Волненіе его сначала было такъ сильно, что онъ не могъ сказать ни словат Нъсколько минутъ онъ молча мърялъ шагами комнату. Отца не было дома: онъ былъ у больного Савинкова. Я сидъла на диванъ и тоже молчала. Мирко сълъ рядомъ со мной. Молча взялъ мою руку. Я гладила его волосы, и ласка эта, казалось, успокаивала его.

— Значить, мы должны разстаться, Мирко?

— спросила я его.

— Да, но только на время. Какъ мнѣ тяжело — продолжалъ онъ, помолчавъ, — понимаешь весь трагизмъ моей ошибки: я ошибся въсвоемъ народъ... Во всемъ святомъ, что было

въ моемъ сердцъ... Какой ужасный конфликтъ — Россія и Болгарія въ моемъ сознаніи всегда были неразрывнымъ цълымъ... И вдругъ — Болгарія противъ Россіи! Я понимаю что германофильская политика Фердинанда ведетъ страну къ гибели. Но если меня призовутъ — я долженъ буду исполнить свой долгъ...

Мой умъ отказывается понимать это: Болгарія противъ Россіи!

Какой это ужасъ! И какой позоръ!

Онъ закрылъ лицо руками.

— Что же ты будешь дѣлать, Мирко? — Что я буду дѣлать? — Бороться съ пре дателями родины!

Мирко, что ты задумалъ!Я не одинъ. Насъ много. Мы должны или спасти страну отъ позора, или съ честью погибнуть!

Глаза Мирко загорълись фанатическимъ

огнемъ...

Грустный быль день, когда мы покидали Софію.

На улицахъ толпились оживленно бесъдующія группы. Бросались въ глаза военные

Изъ одного переулка навстръчу намъ вынырнула толпа, задержавшая нашъ кортежъ. Въдь мы ъхали въ составъ всей миссіи — женщины, дъти, прислуга съ вещами.

Встръчная толпа несла національные флаги. Пъли "Шуми, Марица".

Какіе то потертые субъекты, повидимому, распоряжались манифестаціей. Они затянули популярную въ Болгаріи антисербскую пъсенку "Союзница разбойница". Толпа равнодушно подхватила и это.

Я вглядывалась въ отдъльныя лица. Но

видъла только равнодушіе или недоумъніе. Какъ статисты, которымъ режиссеръ, — и притомъ плохой — указалъ мъста и жесты...
Или я совсъмъ не умъла читать въ чело-

въческихъ чертахъ, или болгары, дъйствительно, были равнодушны къ назръвавшимъ событіямъ, не понимая всего ужаса близкаго грядущаго...

Мы увзжали не съ главнаго вокзала, а съ пригороднаго, такъ называемаго Царскаго Спита. На станцію явились проводить насъ близкіе знакомые и офиціальные представители царя — наслъдникъ и Родославовъ. Послъдній улыбался своей въчной фальшивой улыбкой, и бесъдовалъ

съ Саблеромъ, словно ничего не случилось.

Мы съ Мирко стояли поодаль, обмъниваясь послъдними словами, послъдними взглядами.

— Будь бодрой! — сказалъ онъ мнъ тихо— выходя послъ второго звонка изъ вагона — и върь: не все еще потеряно. Мы увидимся на развалинахъ стараго болгарскаго трона!
Я грустно кивала ему. Чувствовала, что

разстаемся навъки.

Поъздъ тронулся. Я высунулась изъ окна и долго еще махала ему платкомъ — пока вокзалъ не скрылся за поворотомъ.

Я не ошиблась въ своемъ предчувствіи. Развъ мой Мирко, съ его горячей кровью, съ его открытымъ характеромъ, могъ быть гла-

вой заговорщиковъ?

Не знаю, чъмъ выдали они себя. Но я прочитала его имя въ спискъ казненныхъ за руссофильство, который привезъ вернувшійся изъ Болгаріи, оправившійся отъ тяжкой бользни Савинковъ...

Казненъ за то, что любилъ Россію, - Рос-

сію, которой были преданы его отецъ, дѣдъ, всѣ предки... Россію, которая жертвенной кровью выкупила его родину изъ турецкой неволи... Казненъ за то, что любилъ Россію и свой

народъ, въ благородство котораго върилъ до послъдней минуты!...

Моя собесъдница замолчала и отвернулась къ окну, чтобы скрыть набъжавшія слезы...

За густымъ туманомъ мелькали уже отдъльные огни. Мы приближались къ вокзалу...

Голуби.

На окраинѣ города, въ густомъ и тѣнистомъ саду, стоитъ маленькій зеленый домикъ. Потемнѣвшія деревянныя стѣны увиты дикимъ виноградомъ, а по стекламъ веранды бѣжитъ, прихотливо извиваясь и сверкая ярко-красными цвѣтами, аравійскій бобъ. Передъ домомъ—пестрые цвѣтники Въ окна заглядываетъ весной душистая сирень. Надъ черной крышей склоняются вѣтви тѣнистыхъ кленовъ, липъ и березъ.

Въ комнатахъ всегда полутемно. Густые кусты за окномъ не допускаютъ туда яркихъ лучей солнца. И эта полутьма, и старинная уютная мебель, и низкіе, разрисованные какими то листьями потолки — все это говоритъ о другомъ въкъ, о другой жизни... Жизни, безконечно далекой отъ той, что катится въ шумъ автомобилей и аэроплановъ, что бъжитъ по телеграфнымъ проводамъ, что движетъ могучіе океанскіе города-пароходы.

У обитателей домика — своя жизнь, и нътъ имъ дъла до той, что бьетъ ключемъ за оградой

стараго сада.

Ихъ двое — шестидесятильтній хозяинъ дома, Иванъ Ивановичъ и его слуга Тихонъ, который еще старше своего барина. И больше никого...

Давно уже — много много льтъ — не переступалъ порога дома никто посторонній, не раздавался въ немъ никакой чужой голосъ.

Кромъ стариковъ по комнатамъ стараго дома бродятъ только голуби. Много-много голу-

бей. Иванъ Ивановичъ не держитъ ихъ въ голубятняхъ, для нихъ отведена просторная, единственная свътлая въ домѣ,комната. И, какъ ни много тамъ бѣлыхъ, сизыхъ, рыжихъ, пестрыхъ, черныхъ съ синимъ отливомъ — Иванъ Ивановичъ знаетъ ихъ, кажется, всѣхъ по имени, знаетъ привычки и характеръ каждаго изъ своихъ крылатыхъ друзей. Голуби и цвѣты — единственные друзья стараго холостяка.

Постоянное общеніе съ природой выработало въ душъ Ивана Ивановича какое то философское міровоззръніе, спокойное отношеніе ко всему окружающему Онъ любилъ свой садъ, своихъ голубей и свой покой. Не будучи мизантропомъ, Иванъ Ивановичъ чуждался людей, эгоистично боясь, что общеніе съ ними нарушитъ спокойствіе его созерцательной жизни, внесетъ въ нее волненія и бури.

Весна одъвала садъ лиловымъ покровомъ сирени. Іюль раскрывалъ жасминъ. Наполнялъ садъ ароматомъ липъ. Осень, окрасивъ дер въя въ недолговъчный нарядъ, срывала сухіе листья, готовя мягкій коверъ для бълаго, крупнаго снъга

Такъ проходили года — одинъ за другимъ — ничто не нарушало соннаго покоя жильцовъ зеленаго домика.

И вотъ жизнь, которую годами гнали изъ низкихъ комнатъ, внезапно властно, грубо про-

била себъ туда дорогу — грянула война!

Иванъ Ивановичъ помнилъ и турецкую войну, и японскую, и туманные годы первой революціи. Но всѣ эти событія мало коснулись стараго дома. Турецкая война — это было давно ... И только великая война нарушила мирный сонъ доживающихъ свой вѣкъ стариковъ.

Все, что годами сложилось въ умъ Ивана

Ивановича — всъ понятія его грозила перевернуть эта война.

И однажды, въ іюльскій день, Иванъ Ивановичъ совершилъ путешествіе въ городъ, въ самый центръ, гдѣ не былъ, кажется, уже нѣсколько лѣтъ. Онъ шелъ въ банкъ, гдѣ хранились его сбереженія. На другой день Тихонъ, съ торжественнымъ и строгимъ лицомъ, отправился также въ городъ, и отдалъ большой запечатанный конвертъ подъ росписку въ красивомъ домѣ, на которомъ развѣвался флагъ Краснаго Креста.

И, чѣмъ шире развертывались міровыя событія, чѣмъ больше раненыхъ прибывало съ фронта, — тѣмъ чаще носилъ Тихонъ таинственные пакеты въ домъ съ Краснымъ Крестомъ.

Никто не зналъ про это и сосъдки стараго чудака не разъ говорили, укоризненно косясь на мелькавшую между цвътовъ сгорбленную фигуру:

— Ишь, живетъ себъ бариномъ, возится со своими птичками да цвъточками. Хоть бы семью какую бъдную въ домъ пустилъ — комнатъ то свободныхъ сколько... Тоже...

Ивану Ивановичу не было дъла до того, что

говорять про него люди.

Но въ тихую сонную жизнь стариковъ ворвался нежданный гость — и гость этотъ былъ большая пестрая карта, на которой они съ методичной аккуратностью отмъчали каждое утро продвижене нашихъ войскъ. Газеты и телеграммы не сходили у нихъ со стола. Утромъ — телеграммы и карта, послъ объда — птицы и цвъты, вечеромъ — газета. Такъ текла новая жизнь въ зеленомъ домикъ.

Когда изъ города начали увозить все цънное, и жители стали спъшно покидать усвои

гнъзда — старички не тронулись съ мъста. Да и какъ стали бы они жить въ чужомъ городъ.

Городъ пустълъ. Звукъ канонады прибли-

жался.

Было сърое, дождливое утро. Иванъ Ивановичъ напился чаю, прочелъ краткое сообщеніе "отъ штаба Верховнаго главнокомандующаго" и направился въ комнату своихъ друзей. Воркуя и трепеща крыльями, обступили они старика, стараясь вырвать изъ его рукъ кусочекъ бълаго пушистаго хлъба.

Не обходилось безъ драки. Иванъ Ивановичъ вполголоса журилъ забіякъ (онъ утверждалъ, что голуби великолъпно понимаютъ человъчью ръчь) и старался давать самымъ скромнымъ и

слабымъ.

Вошелъ Тихонъ. Онъ какъ-то тупо уставился на давно знакомую ему картину. Лицо старика было мрачно.

Баринъ, а баринъ! — вполголоса ска-

залъ онъ

— Hy, въ чемъ дѣло?

Иванъ Ивановичъ не обернулся на голосъ, гладя спинку съвшей ему на плечо и воркующей отъ удовольствія рыжей голубки.

— Вотъ здъсъ .. написано...

Тихонъ не договориль, сунувъ старику листь утренней газеты. Иванъ Ивановичъ пробъжаль замътку, на которую указалъ ему Тихонъ, еще разъ... уронилъ газету и уставился на слугу. Испуганные зашелестъвшимъ листкомъ, взвились ближайшіе голуби — словно чуя, какую въсть несутъ имъ эти черныя, равнодушныя строки . . .

Баринъ и слуга молча смотръли другъ на

друга.

— Но въдь это невъроятно, Тихонъ! — сказалъ, наконецъ, Иванъ Ивановичъ, но голосъ его предательски дрогнулъ. — Да нътъ, здъсь какое нибудь недоразумъніе... Я пойду къ приставу, узнать, въ чемъ дъло...

Но приставъ подтвердилъ Ивану Ивановичу. что "согласно приказу командующаго Н-ской арміей, всъ голуби, какъ почтовые, такъ и простые, подлежатъ уничтоженію"...

— Правда, Тихонъ — сказалъ онъ, и, минуя столовую, гдв быль уже накрыть столь, прошель въ комнату своихъ друзей. Изъ за двери еще услышаль онь воркотню и на нуту остановился. Больше всего его возмущала фраза, прибавленная послъ приказа, очевидно, выдуманная къмъ то тупоголовымъ въ полиціи:

— За каждую голубиную головку, принесенную въ участокъ, будетъ выплачено пять ко-

Онъ уже видълъ передъ собой цълую армію уличныхъ мальчишекъ, съ гиканьемъ и свистомъ ловящихъ довърчивыхъ птицъ, силками, верев-ками, просто руками. Слышалъ ихъ грубый смъхъ, веселые крики, видълъ глаза, блестящіе отъ жадности и охотничьяго азарта...

Когда Иванъ Ивановичъ открылъ дверь, то, сорвавшись съ мъста, полетъла ему на плечо бълая голубка, глядя на него своими большими красными глазами. Остальные столпились у его ногъ, ожидая подачки и ласки. А онъ тупо смотрълъ на своихъ друзей и думалъ о безсмысленности распоряженія.

— Что это? — сказалъ онъ, замътивъ скатывавшіяся слезинки, — къ чему? Вотъ увидьли бы люди, сказали: сентиментальность, расчувствовался старый дуракъ... Другіе отдаютъ своихъ сыновей, братьевъ... сами гибнутъ въ бою... А онъ — о птицахъ...

Но слезы не слушались его, и одна за другой, текли по сморщеннымъ щекамъ...

А голуби, удивленные его молчаніємъ, топтались, воркуя, у его ногъ, взлетали на спину и плечи, трепали его съдые волосы... — И не подозръвали о томъ, какая судьба ожидаетъ ихъ завтра. . .

Безъ винтика.

"Съ чувствомъ глубокой радости извъщаю родныхъ и знакомыхъ, что мой единственный сынъ

> Иванъ Георгіевичъ ПАЛИЦЫНЪ

почожиур свою жизнь за Въру, Царя и Отечество.

О днъ прибытія тъла и погребеніи будетъ объявлено особо. Г. Палицынъ",

— Соня, Соня! — окликнулъ прапорщикъ Серафимовъ свою жену — пойди сюда. Разъясни мнъ, что это за странное объявленіе? Или у васъ въ Л-скъ принято такъ подчеркивать свой патрі-? Стикито

Серафимовъ только третьяго дня вернулся съ позицій. •Бъ Л-скѣ, гдѣ жила у своихъ родителей его жена, онъ былъ впервые.
— Въ чемъ дѣло? Какое объявленіе? —

спросила Соня, наклоняясь надъ газетой. - Палицынъ? — Ну конечно, кто же другой... Онъ въренъ себъ даже въ такую миниту... Такъ, значитъ, правда, что Ваня Палицынъ убитъ? Въ городъ давно говорили... Онъ пошелъ добровольцемъ съ самаго начала войны.. Былъ здъсьеще въ мартъ.. Въ отпуску, что ли... Бъдный... Та-кой славный былъ человъкъ... Хотя, конечно, не безъ странностей... Впрочемъ, какъ же у такого отца...

— А что это за Палицынъ? — полюбопыт-ствовалъ Серафимовъ.

- Юродивый, блаженный... отозвался сердитымь баскомь тесть, появляясь въ дверяхъ — Не то, чтобы помъшанный, а такъ блажитъ...
 — Да кто онъ такой?
- Да ну, владълецъ нашего знаменитаго садоваго заведенія. Развъ не видълъ, когда подъвзжаль къ вокзалу, безконечный красный заборь? Это и есть садоводство "Георгій Па-лицынъ и сынъ". Цвъты и фрукты на всю округу поставляетъ... груши его на всю губернію сла-вятся... За границей выставляль свои цвъты... Медаль получилъ...
- Но почему вы назвали его юродивымъ, папаша?
- Да такъ, юродивый и есть. Прівхаль онъ къ намъ этакъ лътъ тридцать тому назадъ. Купилъ землю — тогда это верстахъ въ трехъ отъ города было... Сталъ строиться, разводить сады и огороды... Садовника голландца выписалъ... Богатый человъкъ... Очень богатый... Понравился онъ намъ сначала: такой общительный, живой, остроумный... Долгое время никакихъ странностей за нимъ не замъчали... Ну, да богатый человъкъ можетъ себъ позволить... Впрочемъ, ничего... Только ревнивъ былъ до безумія... Ну, да у каждаго свой конекъ... Да и какъ не ревновать: жена — красавица... Лътъ восемнадцать было ей, ему же тогда уже лътъ за тридцать превалило. А то и всъ сорокъ исполнилось... Веселая, черноглазая, румяная... Полгорода она съ ума свела... А волосы у нея какіе были — длинные, предлинные, мягкіе какъ шелкъ . . .
- Върно и вы въ нее были влюблены, папаша засмъялась Соня.
 Ну ужъ и влюбленъ отвътилъ отецъ, косясь на дверь столовой, гдъ накрывала столъ его жена, и тише прибавилъ: да что гръха

таить — кто не быль влюблень въ Олечку Па-лицыну!.. Да шутить то она шутила со всвми, а никто не могъ похвастаться, что имветь у нея серьезный успвхъ. И если она, въ концв концовъ, измънила мужу, то, право, онъ самъ былъ виноватъ — самъ натолкнулъ ее своей чудовищной ревностью ...

Ну, да это пустяки, если бы только ревнивъ былъ. У всякаго свое... Да были у него еще и другія непріятныя качества...

Въ первый разъ прошелъ въ городъ слухъ, что у него "не всъ дома", послъ этого случая съ губернаторомъ. Это было, кажется, въ 1896 г... или девяносто седьмомъ... Ну, однимъ словомъ, когда у насъ жельзную дорогу строили... И теперь мосты и жельзныя дороги — золотое дно для ловкаго строителя, ну а въ то далекое время всякія тамъ ревизіи не такъ еще въ модъ были. Ну, понятно, многіе на этой постройкъ раз-

богатъли. У самого губернатора Красовскаго — Царство ему Небесное, хорошій человъкъ былъ и у губернатора, говорили, рыльце сильно въ нушку было ... Всъ въ городъ знали, да молчали — кому охота соръ изъ избы выносить. Слава Богу, что дождались дороги, а какъ она строилась — намъ что до этого...

Ну вотъ, состоялось торжественное открытіе. Понавхало къ намъ, въ Л-скъ, народу всякаго, разукрасили городъ флагами, ну и тому подобное. Архіерей прівхаль, губернаторъ. Было молебствіе, пустили пробный повздъ съ почетными гостями, потомъ — обвдъ въ думв... Приглашены были всь именитые граждане, ну, понятно, и Палицынъ. Выпили изрядно, какъ уже полагается, ну и развязались языки. Начались тосты. То губернаторъ архіерея превозносить, то архіерей губернатора. То городской голова предлагаетъ выпить за здоровье главнаго строителя (не помню хорошо

фамиліи этого инженера ... тоже хорошій человькь быль), то инженерь превозглашаеть "многая льта" головь. Не помню ужь, какь — давно это было — да и повторяя, прибавили потомь подробности, а самь я тогда на объдь не быль — но только Палицынь назваль губернатора взяточникомь. Понятно, не такь себь, здорово живешь, — разговорь какой-то сначала быль ... Говорили въ городь: къ жень приревноваль онъ губернатора ... Да это ерунда — посль выдумали ... Ну, понимаю, — если бы пьянь быль, а то Палицынь и не пьеть совсьмъ — смышно даже, точно красная дъвица ...

Ну, извъстно, скандалъ получился громадный. Сколько народу тамъ чужого было — разнесли сейчасъ по всей губерніи, какъ губернатора въ Л-скъ осрамили... Хорошо еще — въ то время не смъли газеты о такихъ случаяхъ и заикаться, не то, что теперь. На то и цензура была, чтобы всякій прохвостъ не могъ царскихъ слугъ въ печати облаивать... Не то, что теперь... Ну все же — скандалъ на всю губернію... А сколько непріятностей чинилъ намъ потомъ губернаторъ! Всему городу... Дорого намъ этотъ объдъ обошелся...

Ну потомъ, понятно, стали избъгать приглашать Палицына въ различныхъ торжественныхъ случаяхъ. А онъ все-таки продолжаль свои неумъстныя выходки. Гласнымъ въ думъ былъ. Въ городскіе головы мътилъ... Да мы остереглись . . . Какія онъ ръчи въ думъ произносилъ — что твой Петръ Великій! Однимъ махомъ задумалъ исправить всъ наши въковыя неурядицы... Естественно обижались на него — молодъ больно отцовъ города учить . . . Одно слово — безпокойный былъ человъкъ. Нельзя же, въ самомъ дълъ, такъ беззастънчиво правду-матушку ръзать... Всъ облегченно вздохнули, когда онъ, выражаясь

вашимъ газетнымъ языкомъ, "отстранился отъ общественной дъятельности"... Это было послъ того, какъ сбъжала у него жена... Да и какъ же не сбъжать отъ такого полоумнаго мужа? Онъ ей, кромъ непріятностей, ничего не доставляль, въчно ставилъ ее въ обществъ въ неловкое положеніе . . .

Прівзжала въ городъ труппа. Паршивенькая, захудалая... Только и было два актера настоящихъ, — комикъ, не помню фамиліи — да еще премьеръ Пронскій. Тогда онъ еще начинающимъ артистомъ былъ, только къ намъ, въ какой-нибудь Л скъ, и могъ въ премьеры попасть. Противный человъкъ быль: двуличный, злой, сплетникъ ... Вообще, какая-то нравственно нечистоплотная личность. А игралъ съ какимъ огонькомъ! Помню, красивые у него были глаза - темные такіе, съ длинными ръсницами... Ну, всв наши дамочки съ ума и сходили... Пронскій да Пронскій — только и разговору, что о Поонскомъ...

— Скажите, въдь это же не тотъ знаменитый петроградскій Пронскій? -- спросиль тестя пра-

поощикъ

— Ну, понятно, онъ ... благодаря исторіи

съ Палицынымъ, онъ и пошелъ въ гору. Реклама ... Такъ вотъ, ахали наши дамочки, бъгали "на Поонскаго", карточки его покупали... цвъты подносили .. Бъгала съ ними и Олечка ... А какъ весной увхала труппа — исчезла и госпожа Палицына... И право же — никто не осудилъ ея, кромъ тетушекъ да старыхъ дъвъ. А пожальть — многіе пожальли ...

Разсказчикъ вздохнулъ, и, помолчавъ съ ми-

нуту, продолжалъ:

— Въ городъ злорадствовали. Интересовались ужасно, какъ отнесется къ случившемуся Палицынъ. Кто не зналъ его ахиллесовой пяты — ревности? А онъ взялъ — да и обманулъ всѣ ожиданія — заперся на двѣ недѣли у себя, за стѣной, да и не показывался никуда... И сынишку на улицу не пускалъ, боялся, видно, что тотъ болтать будетъ. Мальчишкѣ тогда четвертый годикъ шелъ.

И никто не замътилъ, какъ онъ уъхалъ изъ города. Узнали только изъ газетъ.

Сидълъ это, значитъ, Палицынъ двъ недъли, думалъ, думалъ, — да и надумалъ поъхать за ними. Узналъ, что Пронскій въ Москвъ, прівхалъ туда — и вызвалъ его на дуэль. Ну, тотъ — трусишка, и такъ, и этакъ, чтобы отвертъться. Я, молъ, изъ принципа драться не буду... А какой тамъ принципъ, когда просто — трусъ... И не сталъ... А Палицынъ возьми — да и подстръли его... Не убилъ, ранилъ только... Да и то не опасно. А все же — покушеніе на убійство, да еще предумышленное. Громкое дъло было. Пронскій сумълъ создать себъ изъ него такую рекламу, что сразу чуть ли не въ знаменитости вышелъ... А въдъ все началось то съ процесса...

Палицына оправдали — нашли тамъ смягчающія обстоятельства. Ну а все же, нѣсколько мѣсяцевъ въ предварительномъ заключеніи пробыль... Да еще въ больницѣ мѣсяца два что ли продержали — умственныя способности свидѣтельствовали...

Вернулся къ намъ, въ Л-скъ, совсѣмъ старикомъ... Ну, понятно, стали его сторониться. Да и самъ онъ началъ избѣгать старыхъ знакомыхъ. А скоро и совсѣмъ отшельникомъ сдѣлался... Только и зналъ, что сынишку, да свои цвѣты... Дѣло его процвѣтаетъ, другого такого образцоваго садоводства во всей губерніи не сыщешь... Служащіе у него дѣльные, подолгу служатъ, хорошо зарабатываютъ; обращается онъ съ ними очень хорошо. Да... А винтика у него, все таки не хватаетъ...

- Ну, изъ вашего разсказа это еще не вытекаетъ.
- А какъ же! А то вотъ еще: сына ничему учить не хотълъ, ни за что въ гимназію не отдавалъ. Дома, говоритъ, самъ съ нимъ заниматься буду.

— Да въдь отдалъ же онъ его въ концъ

концовъ — вставила Соня.

- Только благодаря отцу Мефодію. Прі-ятель это его закадычный... батюшка Преобра-женской церкви пояснилъ Серафимову тесть тоже человъкъ со странностями.
- Ну вотъ, какія вы еще странности нашли у отца Мефодія, папаша? перебила отца Соня отець Мефодій идеальный батюшка! Знаю, знаю, вы всв за него заступаетесь

- общій любимецъ нашихъ дамъ.

- А что, навърное молодой, изъ такъ на-эываемыхъ "свътскихъ батюшекъ"? Въ шелковой ряскъ ходитъ?
- Да ничего подобнаго горячо заступи-лась Соня онъ чудный человъкъ, свътлая личность... Онъ умъетъ такъ успокоить на испо-въди, такъ легко становится... А посмотришь какъ будто бы и не сказалъ ничего особеннаго ... Но все, что онъ говоритъ, такъ просто, такъ искренне. Я посовътовала бы сходить къ нему всьмъ, кто привыкъ смотръть на исповъдь, какъ на простой обрядъ.
- Онъ идеалистъ продолжала она, помолчавъ относится къ своему дълу удивительно серьезно . . . Изгоняетъ изъ церковнаго обихода все, что дълаетъ домъ Господень домомъ торговли. Ты знаешь — обратилась она къ мужу —

онъ, какъ монахъ, не беретъ денегъ за исповъдь . . . Ни за что . . .

Остальное духовенство его не долюбливаетъ... Многіе считаютъ, что онъ вводитъ въ церкви какія то новшества... Находятъ въ этомъ чуть ли не ересь... Понятно, что онъ у нихъ бъльмо на глазу . . У насъ здъсь, какъ впрочемъ, во многихъ провинціальныхъ уголкахъ, духовенство но слишкомъ образованное . . . Какъ печально, что у насъ не требуется для духовенства непремънно высшаго образованія . . .

Купечество тоже недовольно имъ — послъ того, какъ онъ сталъ громить въ проповъдяхъ

спекулянтовъ.

Тутъ ужъ многіе давно подкапываются подъ отца Мефодія — находять ересь не только въ его порядкахъ, но представляютъ даже его проповъди въ искаженномъ видъ . . . Вотъ еще недавно донесли владыкъ, будто онъ въ проповъдяхъ своихъ выступаетъ противъ войны. Это отецъ то Мефодій! Да я не знаю, гдъ еще вы найдете человъка, такъ любящаго свое отечество!

— А все таки — не удержаться твоему отцу

Мефодію — задумчиво сказаль отець.

— Да, пожалуй — грустно вздохнула Соня — архіерей у насъ старъ и слабъ и смотритъ на все глазами приближенныхъ. А среди нихъ у отца Мефодія друзей мало . . . Въдь послъ этого доноса владыкъ запретили отцу Мефодію поучать народъ! — съ горечью прибавила Соня — а въдь слушать его за десять верстъ приходили!

Наступило минутное молчаніе.
— А что жъ, жена Палицына такъ и не вернулась къ нему?

— Еще тогда, когда онъ въ тюрьмъ сидълъ Олечка добилась свиданія съ нимъ. Поонскій то зе бросилъ. Когда судьи вынесли оправдательный приговоръ — она тутъ же, въ залѣ, бросилась къ его ногамъ. Видно, у своего актера театральничать научилась . . . А онъ — какъ каменный . . . Такъ и оставилъ ее . . А простить бы ее надо. Ну, не ради нея — ради сына. Лишить ребенка ласки материнской — это уже жестоко . . Говорятъ, она потомъ совсѣмъ опустилась — по скользкой дорожкѣ пошла . . . Такимъ, какъ она, нужна твердая рука . . А онъ не хотѣлъ понять . . . Ну да, говорю: ненормальный онъ человѣкъ . . . Говорятъ: покончила она потомъ съ собой . . . Не знаю, но такъ говорили . . .

— Что же вы не идете ужинать? — ворчливо произнесла теща, показываясь въ дверяхъ — за-

тьяли тоже разговоры . . .

— Идемъ, идемъ, мамочка — отвътила Соня, первая направляясь къ двери,...

Интересно было бы посмотръть садъ —

сказалъ Серафимовъ.

— Это можно — входъ здъсь свободный

для всъхъ. Я часто покупаю тутъ цвъты.

Они миновали ръшетчатый жельзный заборъ и пошли вдоль кирпичней красной стъны, похожей на ограду кладбища. И ворота были такія, какъ у лютеранскихъ кладбищъ — жельзныя, въготическомъ стиль. Не хватало только креста,

[—] Такъ вотъ, гдѣ живетъ ваша достопримѣчательность номеръ первый! — говорилъ Серафимовъ, съ любопытствомъ разглядывая бѣлый домъ съ колоннами, выдѣлявшися какъ то необычайно серьезно на фонѣ густой листвы. Сквозъ причудливые переплеты рѣшетчатаго забора виднѣлись разнооборазныя, строго выдержанныя клумбы.

вмъсто котораго бълъла небольшая изящная вывъска — "Садоводство Георгій Палицынъ и сынъ".

Отъ воротъ, мимо дома сторожа, разбътались во всъ стороны чистенькія, посыпанныя пескомъ дорожки. Садъ былъ, дъйствительно, прекрасенъ. Тутъ были и ръдкіе кусты, и деревья разныхъ климатовъ, парники и оранжерен цълыя пещеры, увитыя фантастическими растеніями тропиковъ, съ прозрачными фонтанами и акваріумами, осъненными пальмовыми вътвями.

Дальше тянулось розовое поле — культура разнообразнъйшихъ и ръдкостныхъ розовыхъ кустовъ. За нимъ начинался плодовый садъ съ коренастыми яблонями и тонкими стройными вишнями.

Въ саду было тихо. Шумъ городской не долеталь за эти высокія, плотныя стѣны. И отъ всѣхъ этихъ любовно разбросанныхъ растеній вѣяло тихимъ миромъ. Изрѣдка поиадались навстрѣчу загорѣлые парни — былъ полдень и большинство рабочихъ разбрелось на обѣдъ. Только тамъ, на границѣ розоваго поля и сада, окаймлявшаго домъ, усердно копали землю двое молодцевъ; ихъ бѣлыя рубахи ярко сверкали на солнцѣ.

Серафимовы шли по розовому полю. Дорожка, причудливо извиваясь, бъжала между душистыхъ кустовъ и вдругъ ръзко своротила въсторону сада, скрываясь въ густой зелени. Набъжавшій вътерокъ внезапно раздвинулъ вътви кустовъ и оголилъ китайскій павильонъ, на котомъ какъ то застънчиво развъвался флагъ

Краснаго Креста.

— **Лаз**аретъ? — удивленно спросилъ Серафимовъ.

— Да, съ самаго начала войны. На тридцать

кроватей. Говорятъ: оборудованъ образцово —

лучшій въ городъ.

Серафимовъ какъ то недоброжелательно покосился на пестрое зданіе. Эготъ красноръчивый красный крестъ, безмолвно колыхавшійся надъ моремъ зелени, сразу прогналъ мирное настроеніе его души. Напомнилъ прапорщику, откуда онъ недавно вернулся, и куда снова долженъ былъ итти черезъ двъ короткихъ недъли.

- Значить, вашь Палицынь и благотвори-

тель? — сказалъ онъ.

— Онъ добрый человъкъ — просто отвътила Соня — эдъсь — лазаретъ, а тамъ — она указала куда то вдаль, гдъ за заборомъ плодоваго сада виднълись стропила строящагося дома — будетъ убъжище для престарълыхъ бъженцевъ. Мы можемъ пройти туда и посмотрътъ.

Они пошли по направленію къ постройкъ.

— Не свернуть ли лучше — тамъ идетъ Палицынъ съ отцомъ Мефодіемъ.
— Почему же? Ты въдь сама сказала, что

— Почему же? Ты въдь сама сказала, что здъсь ходить не возбраняется. А мнъ бы хотълось посмотръть на объ ваши знаменитости.

Серафимовъ не безъ любопытства ждалъ приближенія объихъ фигуръ, всматриваясь въ ихъ очертанія. Палицынъ былъ приземистый старикъ съ большими голубыми глазами, смотръвшими грустно и разсъянно. Было видно, что онъ привыкъ оставаться наединъ со своими мыслями.

Отецъ Мефодій быль на цівлую голову выше Палицына. Стройный, прямой, съ красивыми чертами лица, съ черными волосами, въ которыхъ замітно мелькала просівдь — онъ напомниль Серафимову древнихъ святителей. Нельзя было не обратить вниманія на его глаза — большіе, горящіе какимъ то світлымъ, непотухающимъ

огнемъ. Глядя на эту худощавую фигуру, отъ которой въяло чъмъ то аскетическимъ и въ то же время вдохновеннымъ и властнымъ — Серафимовъ подумалъ:

- Да, этотъ сумветъ вдохновить толпу, за такимъ пойдешь куда угодно - на костеръ, на

плаху . . .

Поровнявшись съ ними, прапорщикъ приложилъ руку къ козырку. Палицынъ слегка приподнялъ пожелтввшую соломенную шляпу, а священникъ, улыбаясь какой то по дътски чистой улыбкой, сказалъ:

— А, Софья Павловна! А это, навърное,

вашъ мужъ, г. Серафимовъ?

Прапорщикъ назвалъ себя.

— Мы осматриваемъ вашъ садъ — сказаль онъ, обращаясь къ Палицыну — я здѣсь въ городѣ всего двѣ недѣли, но много слышалъ овашемъ заведеніи. Вы достигли просто чудесъ.

— Я люблю свои сады, оттого въ нихъ все и удается — какъ то разсъянно отвътилъ Палицынъ, глядя туда, гдъ стучали лопатами молодцы въ бълыхъ рубахахъ. — Видъли оранжереи?

— Видълъ и восхищался. Я люблю цвъты, но не разбираюсь въ нихъ. А вотъ жена — та у меня ботаникъ, знаетъ цвъты, разводитъ ихъ у себя въ садикъ, можетъ возиться съ ними цълые дни.

— Да, женщины любятъ цвъты — односложно отвътилъ Палицынъ. Серафимову показалось, что ему хотълось поскоръй отдълаться отъ непрошенныхъ посътителей.

Мужъ хотълъ осмотръть еще розовое

поле.

— Пожалуйста, садъ къ вашимъ услугамъ. Вы любите розы? Нарвите себъ. Васька! — крикнулъ онъ куда то въ пространство.

Изъ за кустовъ показалась лохматая голова парня льть пятнадцати.

— Нарви для дамы розъ, да побольше!

Рубля на три прикажете?

Сказано — побольше и лучшихъ. Не на

продажу.

— Ну что вы, зачъмъ же . . . Мы заплотимъ — попробовалъ запротестовать Серафимовъ.

-- Нътъ этихъ розъ я не продамъ . . . Подарить — могу... Все равно, сегодня вечеромъ

я совжу ихъ всв — все поле . . .

Серафимову пришли въ голову слова тестя: "У Палицына не хватаетъ винтика". Тотъ словно прочелъ мысль прапорщика и улыбнулся груст-

ной улыбкой.

— Вы удивляетесь? Сегодня прибываетъ вечернимъ поъздомъ тъло моего сына. Сынъ у меня былъ только одинъ... Онъ ушелъ добровольцемъ еще въ самомъ началъ войны... А теперь убитъ . . . Двухъ Георгіевъ имѣлъ . . . Къ производству былъ представленъ . . . Умеръ отъ ранъ . . . Онъ страшно любилъ наши розы . . . Самые ръдкіе сорта выведены имъ . . .

Ну, извините, я долженъ распорядиться. Завтра и хоронимъ его. Тутъ въ саду...

Палицынъ указалъ на копавшихъ могилу парней.

— Онъ любилъ цвъты . . . Пусть и лежитъ среди цвътовъ ... До свиданія!

Приподняль шляпу и пошель, спокойный и

величественный въ своемъ горъ.

Батюшка благословилъ склоненную головку Сони, пожалъ руку Серафимову и крупными шагами сталъ догонять Палицына.

— Ну, теперь ты видьль обоихъ, мчто ты скажешь ?

Серафи мовъ не отв тилъ ничего Онъ стоялъ

посреди дорожки и смотрълъ вслъдъ удалявшимся фигурамъ, освъщеннымъ лучами горячаго солнца, и въ душъ его было такое хорошее, теплое чувство.

И эти двъ уходившія между розовыхъ кустовъ фигуры казались ему символами той, невамътной за грохотомъ орудійной пальбы, за шумомъ тыловой оргіи самоотверженной трудовой Руси — той Руси, что носитъ названіе — святой ...

Царь.

Онъ былъ царь.

Его царство было велико, почти безпредъльно. Но миръ и благодать царствовали нераздъльно на въчно зеленыхъ поляхъ его владъній.

Онъ былъ царь.

Стихіи повиновались ему, своему господину Громы служили ему. Солнце всходило и заходило по его желанію, чтобы озарить созданныя имъ красоты.

Онъ былъ царь — этотъ бъдный поэтъ, лежавшій уже годы въ своей бъдной каморкъ — съ неподвижными, одервънъвшими ногами...

Онъ лежалъ въ комнаткъ, гдѣ было холодно, сыро и такъ ужасно, ужасно тихо. Онъ не видалъ людей, кромѣ хозяйки съ ея неопрятными дѣтьми. Иногда приходили товарищи. Члены общества, содержавшаго его. Иногда — докторъ. Всѣ о тальные люди были тамъ далеко, далеко внизу, на шумныхъ улицахъ, гамъ которыхъ не достигалъ пятаго этажа. И такъ же далеки, какъ эти улицы, съ ихъ трамваями, автомобилями, блескомъ электрическихъ фонарей и пестрыми выставками витринъ — такъ же далеки были отъ него людскіе интересы и стремленія.

Кто-то живеть, наслаждается, страдаеть и утвшается вновь миражемь надеждь... Кому-то понятны и близки слова: сочувствіе, дружба, надежда, любовь, трудь, слава.

Кому то...

А онъ не знаетъ радостей — не чувствуетъ

больше и страданій — все замѣнилось у него тупой, равнодушной покорностью судьбѣ... Онъ не понимаетъ больше людей — и людине понимаютъ его.

Онъ давно отвыкъ думать о жизни, и грезы его выливаются въ рифмованныя строки, такія же далекія отъ нея, какъ далекъ шопеновскій ноктюрнъ отъ площадного мотива фабричной частушки...

И равнодушно читали его строфы люди, потому что въ нихъ все было туманно, тускло —

и далеко отъ красокъ живой жизни...

Но пришелъ день, когда и въ его убогую каморку вырвались яркіе жизпенные лучи, и въ первый разъ созналъ онъ — и проклялъ — свою бользнь и свое безсиліе...

Это быль тоть великій день, когда изъ эловъщей тучи, нависшей съ востока, тяжелымъ раскатомъ грянулъ, — и раскатолся по всему міру — военный громъ ...

Война!

Это слово зловъщимъ заревомъ ворвалось въ его темную каморку — и впервые за долгіе годы заплакаль онъ — горькими, горькими слезами тоски и безсилія... И, когда доносились къ нему наверхъ обрывки манифестацій, когда слышаль онъ громкое пъніе солдатъ — глубокой тоской сжималось его сердце и червь зависти къ здоровымъ и сильнымъ грызъ и грызъ его душу...

Вѣдь они шли умирать за родину — а онъ лежалъ здѣсь, никому не нужный и безполезный...

[—] Кто авторъ этихъ сладкихъ, какъ соловыная пъсня, стиховъ, въ которыхъ слышится

такая нъжная грусть — скорбь о павшихъ на полъ брани?

- Кто написаль этоть страстный, волнующій толкающій безудержно въ гущу боя?

- Кто выстрадаль эти вдохновенныя строки. полныя такой горячей любви къ матери-родинъ?

Такъ говорили тъ, кого онъ не зналъ, чьи мысли и стремленія были чужды ему еще такъ недавно. Они читали и клали на музыку его стихи, они пъли ихъ, вдохновляясь ими на подвигъ славы. Они искали въ нихъ утъшенія въ скорби о тѣхъ, кто палъ...

И не знали они, что авторъ этихъ чудныхъ строкъ — бъдный поэтъ съ больными ногами, лежащій уже много много льтъ безъ движенія въ сырой каморкь на пятомъ этажь...

И, хотя не зналъ онъ ихъ, а они не знали его, какія-то невидимыя нити протянулись къ поэту оттуда, изъ жизни.

И его догорающая жизнь влилась полнымъ потокомъ въ бурное море любви къ страдающей родинъ.

Царь быль со своимь народомь...

Назадъ . . .

Протяжно и тоскливо разливался въ весеннемъ воздухъ звонъ монастырскихъ колоколовъ.

И было въ немъ что то непривычно унылое, мучительное и безнадежное . . .

Звонили къ воскресной всенощной.

По широкому двору торопливой поступью проходили монахини, спъшившія окончить до всенощной свои обычные труды. Нъкоторыя на-

правлялись уже въ церковь.

На колокольнъ, наклонившись надъ пролетомъ, стояла блъдная, еще совсъмъ молодая монахиня. Привычнымъ жестомъ двигала она веревку, заставляя гудъть колокольные мъдные языки. У ногъ ея колыхалась свъже-зеленая листва деревьевъ. У ногъ ея, роняя тусклые лучи, лежало бълое еще, но уже близкое къ закату, солнце.

А надъ головой пъли свою однообразную пъсню колокола.

Почему такъ грустна эта пъснь, почему слышатся въ ней такіе похоронные напъвы?

Монастырскіе колокола . . .

Здѣсь — могила всѣхъ человѣческихъ страстей, всѣхъ молодыхъ грезъ о счастъѣ — земномъ счастъѣ человѣка... Здѣсь нѣтъ ничего, кромѣ холодныхъ бѣлыхъ стѣнъ, протяжнаго звона и тоскливыхъ, тягучихъ напѣвовъ . . .

Здъсь — жилище Бога . . .

Но не всв могутъ видъть Его, Всеблагого

и Милосерднаго, - сквозь эти мрачныя ствны...

Въ чащъ темнаго лъса, далеко отъ города съ его шумомъ, далеко отъ большихъ дорогъ вознеслась эта тихая обитель. И нътъ связи между ея ровно текущей жизнью - и той, что ведетъ гръховный міръ, по ту сторону ограды. Но въ такіе теплые весенніе вечера протяги-

ваются оттуда въ монастырь невидимыя, но цѣп-кія нити. Каждая капля весенняго воздуха, ка-ждый свѣжій листокъ деревъ — все приноситъ въ обитель въсть о земномъ, гръшномъ, зной номъ . . . О томъ, чему нътъ мъста за бълыми ствнами монастыря . . .

И въ такіе вотъ вечера ползуть въ молодую душу смутныя, мучительныя воспоминанія о про-

Смерть любимаго . . .

И отчаяніе — тупое отчаяніе . . . Сестра Ирина провела рукой по лбу, отгоняя тежелыя мысля. Но онъ не уходили, и съ каждымъ новымъ ударомъ колокола ползла откуда-то ихъ темная, слъпая вереница . . .

Зачьмъ пошла она въ монастырь? Въ тъ кошмарные дни казалось ей великимъ счастьемъ уйти отъ жизни, отъ людей, запереться въ тъсной кельъ, со своими мыслями, со своимъ прошлымъ.

Молиться?

Сестоу Ирину влекла въ монастырь не мо-

литва. Ей казалось, что за монастырскими стънами, въ благоговъйной тишинъ, творится какое то великое дъло — полное самоотреченія, само-

отверженности и христіанскаго смиренія.

Но порывъ скоро прошелъ. Сестра Ирина увидъла, что въ монастыръ мало такихъ, какой хотълось бы стать ей самой Она увидъла вокругъ — тупую покорность судьбъ, темноту, невъжество, мертвую въру, граничащую съ суевъріемъ, возводившую въ таинство внъшніе обряды . . . равнодушіе . . . часто подобострастіе . . .

Молитву и постъ, низведенные на степень

ремесла . . .

Да развъ всякій способенъ молиться такъ, какъ требуетъ этого Церковь? Творить подвигъ поста и молитвы — не за себя только а за всъхъ — страждущихъ, болящихъ, озлобленныхъ... гибнущихъ

За всъхъ и за вся . . .

И сестръ Иринъ стало тъсно въ монастырскихъ стънахъ, гдъ не нашла она покоя и удовлетворенія Да развъ ей, дъятельной, кипучей натуръ, можно было примириться съ жизнью монастыря, гдъ было много работы — но не было дъла! Дъла большого, широкаго, захватывающаго своимъ значеніемъ и безкорыстностью ...

Была только молитва, молитва, молитва — потерявшая свое значеніе, не вызывавшая благо-говъйнаго экстава.

Бълыя стъны. И осуждающіе лики святыхъ. Неужели они всегда и за все осуждаютъ? Неужели у нихъ нътъ любви и жалости къ страдающей "душъ христіанской, скорбящей и озлобленной?"

Строгіе лики святыхъ. И строгія равнодушныя лица монахинь. Отчего онъ всегда такъ

спокойны и равнодушны? Или онъ нашли тотъ божественный, золотой ключъ счастья, который такъ упорно ускользалъ изъ нетерпъливыхъ рукъ сестры Ирины?

По лицу всего міра разлились кровавыя волны войны. Началось великое разрушеніе и великое строительство. Пали старые идолы, и на ихъ, неуспъвшемъ еще остыть, пеплъ воздвигались жертвенники новымъ богамъ.

Но здъсь, у алтаря Истиннаго Бога, было

но здъсь, у алтаря Истиннаго Бога, было все такъ-же спокойно и мирно, какъ годы — какъ десятильтія тому назадъ . . .

Тамъ — льется кровь, тамъ — стоны раненыхъ, тамъ — подвиги славы и милосердія. Здъсь — тъ-же протяжные напъвы, тотъ же дымъ фиміама, тъ-же слова старинныхъ молитвъ. Брызги кровавыхъ волнъ не смъютъ долетьть до обители Бога. обители Бога . . .

Шелъ мъсяцъ за мъсяцемъ, и ничто, кромъ положенныхъ молитвъ за Отчизну и воиновъ, не напоминало по эту сторону стънъ о войнъ.

И вдругъ жизнъ ворвалась въ монастырь, внезапно, страшно — какъ татъ въ ночи при-

ходяшій . . .

Все произошло въ три дня. Глухой, жуткій звукъ раскатился ночью надъ Пустынью. Робко отвътило ему лъсное эхо и снова спряталось въ глушь. И поднявшійся вътеръ заглушилъ раскаты,

относя ихъ въ другую сторону
Не поняли еще въ ту ночь внезапно разбуженныя сестры, что означалъ этотъ новый, невъдомый громъ.

Но съ алыми лучами разсвъта потянулись къ воротамъ монастырскимъ испуганные люди, плачущія женщины и дъти. Кто успълъ еще —

захватиль свой скарбь, сложиль его на тельгу, а

кто шель пвшкомь, безо всего.

Вереница за вереницей тянулись они мимо монастыря. Иные просили пріюта, и, отдохнувъ, уходили дальше по пыльной ожившей льсной дорогв.

А за ними вслъдъ гнались ужасъ, смерть и насиліе . . .

Цълый день грохотала надъ мирной обителью канонада и, казалось, становилась ближе и ближе . . .

Цѣлый день молились во храмѣ испуганныя сестры и переполнившіе его усталые женцы.

А вечеромъ пришель отъ военныхъ властей

поиказъ:

"Сжечь всв святыни, чтобы не доставались

онъ на поругание врагу - и уходить!"

Уходить изъ тъхъ стънъ, за которыми, какъ ночное бурливое море, раскинулся міръ, со всъми его соблазнами, съ его стоглавой гидрой всъхъ смертныхъ гръховъ.

Многія изъ съдыхъ сестеръ провели здъсь всю жизнь, съ самой ранней юности, сжились съ каждымъ уголкомъ храма, знали каждый кустикъ въ саду и мечтали тутъ-же умереть, лежать подъ плакучими березами монастырскаго кладбища . . .

Уходить . . .

Торжественно, словно подъ престольный праздникъ, служилъ въ этотъ вечеръ всенощную престарълый отецъ Иннокентій.

Долго затянулось бданіе, только къ полу-ночи вынесли въ садъ церковныя святыни —

престоль и жертвенникъ.

Каждой весной, о ту пору, когда цвѣтетъ въ монастырскомъ саду сирень, справляла Пустынь, свой престольный праздпикъ — Вешняго Николы. Двойное въ этогъ день бывало торжество — крестнымъ ходомъ приносили изъ ближайшаго города чтимую икону Божісй Матери и Владычица оставалась въ монастырѣ на цѣлыя сутки. Обѣ службы совершалъ всегда владыка. Тысячи народу стекались въ эти дни въ монастырь, убогій храмъ не могъ вмѣстить и трети молящихся. Поэтому всенощное бдѣніе совершалось всегда въ саду, подъ открытымъ небомъ.

... И теперь тоже качались по вътру вътви блъдной сирени, сливая свой тонкій ароматъ съ запахомъ ладана. Бълыя майскія звъзды смотръли съ полуночнаго неба.

Но вивсто тысячи благоговвино молящихся богомольцевь, собрались только монахини и нв-

сколько десятковъ бъженцевъ.

И, подъ грохотъ далекихъ выстрѣловъ, совершалъ сѣдой отецъ Иннокентій въ саду послѣднее богослуженіе . . .

... А черезъ пять дней — Вешній Ни-

кола . . .

Вотъ отзвучали послъднія слова молебна. Вотъ престоль и жертвенникъ поставлены на груды кирпичей, обложенныхъ со всъхъ сторонъ березовыми сухими дровами. Облако фиміама скрыло ихъ на минуту изъ глазъ молящихся. Послышался трескъ загорающихся вътвей, подожженныхъ свъчею.

Медленно разгорались языки пламени, обнимая со всёхъ сторонъ святыни, у которыхъ столько лётъ приносилась безкровная жертва, звучали пъснопенія и молитвы. Розовый свётъ потянулся столбомъ по небу и слился тамъ, въ выши-

нь, съ заревомъ пожара, полыхавшимъ надъ льсомъ.

Трещаль огонь. Слышались заглушенныя рыданія монахинь.

А земля содрогалась отъ дальнихъ выстръловъ...

Майская ночь коротка. Уже начинало свътльть на востокъ, когда появились изъ монастырскихъ воротъ черныя фигуры монахинь и ночевавшихъ въобители бъженцевъ. Выходили изъ ограды, крестились на кроткій ликъ Богоматери, грустно смотръвшій съ воротъ (кръпко задъланъ среди кирпичей былъ образъ, и нельзя было его снять) и медленно уходили по лъсной дорогъ.

И скоро густой можжевельникъ, высокія

И скоро густой можжевельникъ, высокія сосны и многолистые кусты оръшника скрыли ихъ изъ глазъ Богоматери, долго смотръвшей имъ

вслѣдъ.

Плакали старыя монахини. Тяжелая грусть давила сердца всъхъ уходившихъ. И какъ то равнодушнъе другихъ уходила изъ монастыря сестра

Ирина

И ей было грустно — но эта была не та грусть, что лежала на душъ у другихъ сестеръ. Ей не жаль было ни монастыря, обманувшаго ея ожиданія, ни сада, который будилъ въ ней мечты и воспоминанія минувшаго, ни тихой созерцательной жизни.

Ей больно было уходить, потому что въ этихъ раскатахъ, потрясавшихъ землю, чудилось ей въяніе иной, настоящей жизни... Жизни, отъ которой она снова бъжитъ подъ своды какого нибудь монастыря. Опять къ тому же сонному и чуждому ей существованію...

Пробужделся день. Давно померкли въ синевъ и безъ того блъдныя майскія звъзды. За

полями алѣла уже заря. Высоко въ небѣ выводилъ беззаботно свои звонкія трели жаворонокъ: оттуда, съ высоты, ему было уже видно восходившее солнце. Съ опушки лѣса доносились птичьи голоса...

И словно тяжелые вздохи земли, проносились, время отъ времени, гулкіе раскаты орудій...

Загудѣвъ протяжно-рѣзкимъ звукомъ, обогналъ монахинь большой автомобиль. Изъ оконъ глянули на мигъ блѣдныя лица раненыхъ, усталыя сестры, любопытные глаза санитаровъ, оглянувшихся на черную толпу, растянувшуюся по дорогѣ.

Облако пыли скрыло автомобиль — но какая то неуловимая пробъжала струя вмъстъ съ нимъ. Въдь они ъхали оттуда, гдъ гремъли орудія, изъ царства огня и крови Эти блъдныя лица говорили о великихъ страданіяхъ и о вели-

комъ и страшномъ дълъ...

О подвигъ милосердія и самопожертвованія говориль скромный красный кресть, украшавшій стънки автомобиля...

Съ грустью смотрѣла вслѣдъ пыльной завѣсѣ сестра Ирина. И ей казалось, что въ этомъ облакѣ пыли убѣжала туда, навстрѣчу майскаго дня, та жизнь, о которой грезила она въ обители долгими зимними ночами, когда протяжно завывала въ лѣсу мятель и плакали, скрипѣли и стонали тонкія сосны...

Когда садились въ поѣздъ, чтобы \$ ѣхать къ назначенному владыкой монастырю, — хватились сестры Ирины.

Но она въ монастырь такъ и не вернулась..

Старый Яковъ.

Я встрътился съ этимъ страннымъ человъкомъ въ одну изъ своихъ безконечныхъ прогулокъ по Лифляндскому взморью. Прогулки, дельнія прогулки пъшкомъ — это была моя страсть съ дътства. Ученикомъ я "удиралъ" съ уроковъ, — особенно весной, — уходя куда нибудь за городъ, гдъ пахло свъжей зеленью, гдъ небо казалось ярче и синъй, гдъ пъли жаворошки.

Взрослымъ я пропадалъ изъ дому на цалыя недъли. Я исходилъ вдоль и поперекъ всъ скрестности Риги, зналъ хорошо Ливонскую Швейцарію, а по морскому берегу, минуя ръки и ръченки, добирался до самаго Пернигеля.

Я любиль лежать часами у костра, глядя бездумно на черныя сосны, на мелькавшія между качавшихся вътвей обрывки звъзднаго неба. Любилъ морской просторъ. Любилъ однообразныя пъсни волнъ, рождавшія во мнъ сказочные образы...

Эти образы... Они витаютъ всюду, гдѣ вѣ-етъ моремъ. Они въ лѣсу. Надъ рѣчными волнами. Въ золотистой лѣтней ржи.

Они рождаются изъ кувшинокъ, раскинув-шихся надъ прудомъ. Поднимаются надъ зеле-нымъ бархатомъ жуткихъ болотъ... Я — поэтъ мира и тишины. Все лучшее рож-

даетъ во мнъ тишина...

Я зашелъ въ лачугу стараго Якова попросить воды. Онъ сидълъ у стола и ълъ аппетит-

ную "скаба путру", завдая ее ломтемъ чернаго душистаго хавба. Старикъ предложилъ мнв раздванть съ нимъ объдъ, на что я охотно согласился. Будешь голоденъ, если скитаешься цвлый день по лвсу..

Мы разговорились. Я съ дътства свободно владъю латышскимъ языкомъ, такъ что понимать

старика не составило мив трудности.

Узнавъ, что я - любит ль большихъ про-

гулокъ, старикъ оживился.

— Я тоже раньше много ходиль, въ молодости... — сказаль онъ — теперь мои ноги стали не тв... А я очень, очень люблю наши лвса... Теперь становится годь оть году хуже... Воть, въ Вецакенв вырубають деревья, строять дачи... Въ Нейбадв и Царникау тоже... Говорять — желвзная дорога тамъ скоро пройдеть... А раньше — какіе лвса тамъ были!

Но и теперь на Лифляндскомъ взморъв еще

очень хорошо...

Оставайтесь ночевать, господинь, — завтра утромь я отвезу вась въ красивыя мъста.. Ходить то я много теперь не могу — довезу на лодкъ...

Я не пожальль, что согласился на предложение Стараго Якова. Этотъ восьмидесятильтній старикъ обладаль художественнымъ вкусомъ и быль глубокимъ знатокомъ прошлаго родного

края.

Сопровождая его на рыбную ловлю—Яковъ быль рыбакомъ — я могъ часами слушать его красивые разсказы о томъ, что было здъсь раньше, какіе ландшафты стольтія тому назадъ видьло здъсь человъческое око... Яковъ разсказываль такъ, что можно было подумать — онъ видъль все это собственными глазами.

Но онъ говорилъ о томъ — что было стольтія назадъ!

Этотъ старикъ былъ положительно поэтъ!

Однажды онъ повезъ меня на маленькій безымянный островокъ на старомъ усть Двины, который виденъ издалека. На немъ высится какой то зеленый валь, который, какъ я наивно думаль, возведенъ совершенно недавно спеціально для несущихъ тамъ караульную службу солдатъ и относится къ укръпленному району.

Но то, что я считаль новымь сооружениемь, оказалось старше самой Риги. Когда-то, лътъ семьсотъ тому назадъ, стоялъ здъсь монастырь, во имя Николач Чудотворца. И святой Николай покровитель всьхъ плавающихъ и путешествующихъ — охранялъ суда, входившія, распустивъ паруса, въ Двину съ моря...

Другой разъ пошли мы съ Яковомъ на Вецакенскіе пески. Я зналъ и раньше это громадное унылое пространство, гдъ такъ легко заблудиться, гдъ такъ быстро вязнетъ нога. Но никогда не интересовался ихъ исторіей. Пески и пески... Думаль, что, въроятно, когда нибудь въ этомъ мъстъ Кишъ-озеро — величайшее изъ озеръ въ ближайшихъ окрестностяхъ Риги — соединялось съ Рижскимъ заливомъ, что пески эти — старое морское дно.

Какъ стыдно стало мнв передъ Яковомъ, который, какъ живая энциклопедія, разсказаль мнь, что озеро никогда не имъло сообщенія съ моремъ. И съ Двиной не сообщалось озеро въ оны дни...

— Тотъ проливъ, каналъ-назовите его, какъ хотите, — который вы привыкли называть "ръка Мюльграбенъ" прорыть въка назадъискусственно. Годами работали монахи, проръзая песчаные холмы, пока не соединили озеро съ ръкой... Такъ осушили они часть озера - оно занимало въ тъ

времена гораздо большую площадь — не только добоую половину этихъ песковъ, но и часть того пространства, на которомъ нынъ вы видите лъсъ, гдъ стоять деревни, эръетъ и наливается рожь... Но не всъ пески были озернымъ дномъ. Часть ихь была застроена, и на пространствъ этомъ высились различныя монастырскія службы... Но потомъ все это было сожжено людьми, пришедшими съ съвера... (очевидно, старикъ говорилъ о шведахъ).

— И ничего не осталось отъ монастыря, который раскинулся на такое большое разсто-

яніе?

Старикъ задумался.

— Осталось Только надо умъть искать...Тамъ, гдь стояль раньше Николаевскій монастырь, на самомъ берегу Двины, - въдь Двина впадала въ море не тамъ, гдъ сейчасъ — вы видъли зеленый валъ... Была церковь и на другомъ берегу... И кладбище... Теперь и церковь, и кладбище въ иномъ мъстъ... Вы ихъ знаете... Бълая церковь видна издалека. А кладбище на высокомъ мъстъ... Съ него видны и Двина, и море... Старую церковь сожгли во время великой войны... Двъсти лътъ назадъ...

А впослъдствіи, не щадя покоя мертвыхъ, растащили гранитные кресты и надгробныя плиты и побросали ихъ въ воду...
— Зачъмъ же? — вырвалось у меня.

— Такъ начали люди строить дамбу... Вся дамба, которую вы видите тамъ (онъ указалъ куда то въ пространство, гдъ, скрытая за лъсомъ, была ръка), вся дамба, по которой вы можете пройти на зеленый островокъ - выстроена изъ кладбищенскихъ и церковныхъ камней...
— И это все, что осталось?
— Нътъ, есть и еще. Идемте!

— Какъ, здъсь, на пескахъ? Неужели еще

можеть быть зд‡сь что нибуль? Что осталось незанесеннымъ? Столько вѣковъ?

Но Яковъ не отв \pm тилъ, а углублялся въ нески.

Много разъ впослъдствін, уходя одинъ, искаль я этоть странный памятникъ старины, показанный мн в Яковомъ, — но никогда не могъ его найти Это было что то вродъ громаднаго погреба, еще сохранившагося довольно хорошо. Я никакъ не могъ повърить, что онъ стоитъ семьсоть лътъ, но Яковъ утверждалъ, что не ошибается.

— Вы можете посмотрѣть въ музеѣ старыя карты и планы, господинъ, — говорилъ онъ мнѣ. — Тамъ вы увидите: на этомъ самомъ мѣстѣ было большое строеніе...

Въ знойный лѣтній день, когда въ пескахъ нестерпимо душно, забрались мы подъ старые

своды и легли тамъ, въ тѣни...

Старикъ, много гаворившій, пока мы шли въ пескахъ, теперь сосредоточенно молчалъ.

— О чемъ вы думаете? — спросилъ я.

Я приготозился услышать какую нибудь старую легснду, поэтому не удивили меня его первыя слова.

— Какъ много ихъ идетъ — голосъ Якова ввучалъ теперь глухо и надрывно, — много - много ... Одинъ за другимъ умираютъ храбрые бойцы... Вотъ осталась ихъ уже совсъмъ небольшая кучка... Но они дерутся, какъ львы... Вотъ пали и послъдніе... И побъдители празднуютъ кровавую тризну...

Я удивленно смотрѣлъ на Якова. Странно. На меня это сооруженіе, похожее на какое то заброшенное укрѣпленіе, не навѣвало никакихъ

мрачныхъ мыслей...

Другой разъ мы сидъли съ Яковомъ въ молодой сосновой поросли, на пригоркъ Яковъ сосредоточено думалъ о чемъ то, а я смотрълъ въ голубое небо, такъ красиво синѣвшее между молодой листвы и мысли мои были самыя легкомысленныя. Онъ были заняты хорошенькой блондинкой въ голубомъ платъъ, что приглянулась мнф наканунъ въ паркъ Царникаускаго замка... О, этотъ паркъ! Нигдъ я не видалъ такихъ высокихъ папоротниковъ, какъ тамъ... Они казались мнф настоящими деревьями...

Уловивъ загадочный взглядъ Якова, я

спросиль:

— О чемъ вы сейчасъ думали?

— Ихъ было двсе — онъ одинъ . . . Они подкрались въ темнотъ . . . Онъ не успълъ даже закричать . . . И умеръ . . . Кровь его оросила родную землю, за честь которой онъ шелъ умирать . . . А за нимъ, на смъну ему, шли уже другіс . . .

Я посмотрълъ на Якова. Кто передо мной? Поэтъ или сумасшедшій, маніакъ, одержимый на-

вязчивой идеей?

— Откуда у васъ такія мрачныя мысли, Яковъ? Мнѣ думалось, что въ такія мирныя минуты, окруженные такой красотой, вы вспоминаете прошлое... вашу молодость... любовь... Вѣдь любили же вы когда нибудь, Яковъ?

Онъ отвътиль не сразу.

— Да, раньше я вепоминаль . . . Уходиль въ льсъ, ложился на землю, и вспоминаль . . . Мнь есть что вспомнить . . . Молодость . . . И любовь . . . Хорошую любовь . . .

... Воспоминаній у меня много ... Въ молодости своей я быль морякомъ, объвздиль полсвъта ... Быль въ Америкъ и Индіи ... А потомъ бросилъ ... Почему? — Это не от-

носится къ дѣлу... Много, много хорошаго могу я вспомнить... Лѣса такъ хороши... Молчаливы . . . И не выдають тайнь . . .

... Въ первый разъ нарушена была ихъ тишина восемь лътъ тому назадъ. Тогда появились здъсь "лъсные братья". Я не боялся ихъ — рыбаковъ и крестьянъ они не трогали — они шли противъ господъ . . .

... Я — старый человъкъ. Помню еще, какъ мы ломали шапки передъ нъмецкими баронами, . . . Какъ нашихъ отцовъ съкли они на конюшнъ . . .

И я говорилъ "лѣснымъ братьямъ": "Подождите. Не пришло еще время расправляться съ баронами."

Я могъ такъ говорить съ ними. Я — ста-рый человъкъ. И я носилъ имъ хлъбъ и рыбу . . .

Но они не слушались . . .

А старый Яковъ былъ правъ: господа востор-жествовали, а "лъсные братья" попали на висълицу . . .

Тогда я впервые видълъ здъсь, въ лъсу — кровь . . . Тогда лъсъ лишился покоя и

мира . . .

Но прошли годы, и онъ снова сталъ прежнимъ, и снова наполнился старыми воспоминаніями . . .

Но вотъ, послъднее время мнъ снова все мерещится кровь. Все кровь и кровь . . . И вотъ, такія странныя картины . . .

[—] Пойдемте дальше — внезапно поднялся старикъ. Я покорно послъдовалъ за нимъ. Мы спустились съ пригорка, густо усъяннаго брусничными кустиками, миновали какое то болото

и вошли в старый лъсъ. Какія то странныя, симметрично расположенныя углубленія попадались то и дѣло въ лѣсу. Они шли въ три ряда, а то и въ четыре. Иныя густо заросли мохомъ и брусникой, иныя ясно сохранили еще приданную имъ чьей то искусной рукой четырехугольную форму.

- Что это? -- спросиль я своего спутника,

присматриваясь къ странной картинъ.

— Окопы Французской войны — отвътилъ старикъ — мой отецъ помнилъ еще очень хорошо, какъ стояли эдъсь солдаты . . . А вотъ и колодецъ, вырытый сто льть назадъ.

Мы очутились около круглаго колодца, вы-

ложеннаго искусно деревомъ и мохомъ.

— Теперь онъ совсьмъ обмельль. И ребенокъ въ немъ не утонетъ. А былъ раньше очень глубокій... И даваль хорошую воду... Когда стояли здъсь солдаты . . . Большой лагерь быль тогда въ лѣсу... Да лѣса почти то и не было... Сосны были совсѣмъ, совсѣмъ маленькими . . . Какъ вотъ тамъ, на пригоркв . . .

Старикъ задумался, указывая на молодую поросль. Густо стояли тамъ сосенки, давя другъ

друга, споря изъ за свъта и тепла . . .

— И онъ будутъ старыми . . . И старыя, будутъ смотръть внизъ, на заброшенныя траншеи . . . Растянулись онъ — отъ края и до края . . . Изръзанъ весь лъсъ, изрытъ и истерзанъ лопатами . . .

... Не слышно больше птицъ... Одна человъческая ръчь... И выстрълы... вы-

стовлы . . .

. . . На взморь в и въ лъсу, на дюнахъ и въ полъ — всюду окопы, окопы, окопы . . . Я смотрълъ на страннаго старика. Но мнъ и въ голову не приходило, въ этотъ благодатный

льтній день, что онъ видить картины — близкаго уже — будущаго . . .

На слъдующее льто мнъ почти не пришлось

видъть Якова.

Уже въ концъ мая я вынужденъ былъ уъхать во Францію, куда вызывала меня бользиь единственной, горячо любимой сестры. Я думалъ, что вернусь черезъ какой нибудь мъсяцъ, но бользиь сестры затянулась.

Во Франціи и застала меня война. Зараженный энтузіазмомъ пылкихъ французовъ, я рвался на фронтъ, но не могъ оставить умирающей. Только осенью, когда не стало у меня сестры, я поступилъ добровольцемъ въ ряды дъйствующей арміи.

Былъ два раза раненъ — не опасно — и такъ то внушалъ себъ, что судьба мнъ благо пріятствуетъ, что я доживу до побъдоноснаго окончанія войны.

Въ третій разъ я былъ раненъ подъ Верденомъ, и, раненый, попалъ въ плънъ . . .

Каково жить въ германскомъ плвну — рас-пространяться объ этомъ не стану. Мучили голодъ, холодъ и — больше всего — сознаніе бездъятельности и тоска. Привыкшему къ вольной жизни, мнъ былъ ужасенъ тюремный режимъ, и я думалъ подчасъ, что сойду съ ума . . .

Волновали тревожные слухи, доходившіе изъ

Россіи. Когда пришли въ нашъ лагерь первыя въсти о революціи — мы не повърили.

Насъ, плънныхъ, кормили самыми чудовищными слухами . . . Но потомъ, когда объ этомъ

стали говорить все упорнве — невыносимо по-тянуло домой, на родную сторону — посмотоъть самому, провърить, въ чемъ же тамъ дъло . . .

Докатились въсти о начинающемся въ арміи разваль . . . И, наконець, о сепаратномъ мирѣ . . .

Я дни и ночи мечталь о побыть, но насъ

охраняли слишкомъ хорошо ...

Но вотъ, въ одинъ прекрасный день, насъ посадили въ вагонъ и отправили на рижскій фоонтъ.

Я вхалъ въ Россію!

Уже по дорогъ узнали мы о взятіи Риги. Въсть эта поразила всъхъ.

Насъ послали рыть окопы въ районъ озеръ. Трое изъ товарищей — (всего изъ нашего лагеря было пять) — отказались и были разстрыляны.

Я пережилъ страшную борьбу.
Рыть окопы? Работать во вредъ своимъ?
Отказаться? Раздълить участь тъхъ трехъ?
Я не боюсь смерти. Я видълъ ее много разъ въ бояхъ, гдъ она проходила зачастую влотную, леденя меня своимъ дыханіемъ.
Но въ душъ моей горъла такая жажда жизни,

и жила твердая надежда, что здъсь, на родинъ.

мив удастся бъжать. И я бъжаль!

Пользуясь знаніемъ мѣстности, я пробирался въ обходъ Кишъ-озера, по болотистому берегу, направляясь къ приморскимъ лѣсамъ, исхоженнымъ мной вдоль и поперекъ. По большимъ дорогамъ я вѣдь итти не могъ. И вышелъ на проклятые пески. Тамъ, на открытомъ мъстъ, можно было

итти только ночью, руководствуясъ звѣздами, а днемъ я скрывался въ густыхъ кустарникахъ.

Путь отъ Кишъ озера къ морю не больше двухъ часовъ — но я боодиль по знакомымъ лъсамъ вмъсто двухъ часовъ — чуть ли не два дня! Потому что повсюду преграждали мнъ путь проволочныя загражденія. О, эта проклятая съть проволочной паутины! И, когда я сталъ натыкаться на эту паутину въ пескахъ и въ лѣсу — пришли мнѣ на память — а потомъ уже стучали неотвязно въ мозгу полузабытыя слова стараго Якова:

— Растянулись окопы отъ края до края... Изовзали весь льсь, истерзали и изоыли его лопатами . . . На взморьъ и въ лъсу, на дюнахъ и въ полъ — всюду окопы, окопы, окопы . . . Ясновидящимъ былъ ты, старый Яковъ!

Живъ ли ты еще? Добраться бы до твоей

избушки . . . И отдохнуть . . . отдохнуть Да впрочемъ, зачъмъ Яковъ . . . Каждый крестьянинъ, каждый рыбакъ пустятъ къ себъ переночевать и накормять плъннаго Не любять латыши нъмцевъ . Не только въ Міровую войну родилась ненависть. Ей много, много въковъ . . .

Да, но какъ же пробраться черезъ эту про-клятую съть! Какъ миновать и добраться до ближайшей деревни!

Я зналь всь тропинки въ льсу. Но пять дней, предшествовавшихъ моему бъгству, были сильные дожди, и теперь въ лъсу стояла вода и вода . . .

Я изнемогаль оть голода и жажды. Пробоваль пить грязную воду, пахнувшую пльсенью и болотомъ . . .

Собравши послъднія силы, поползъ я въ ту сторону. гдъ, какъ казалось, проволочныя загражденія были ръже . . . Но силы оставили меня. Я ръшилъ передохнуть нъсколько минутъ въ густой чащъ можжевельника. Но, лишь только я вполэъ въ кусты, какъ двъ сильныхъ руки схватили меня за шиворотъ, и надъ ухомъ моимъ прозвучалъ голосъ, сказавшій по латышски:

— Проклятый нъмецъ!

 Я не нѣмецъ — также по латышски прошепталь я, стараясь освободиться отъ цъпкихъ рукъ — я — плънный . . .

И лишился чувствъ . . .

Очнулся я въ какой то узкой грязной норъ. Я лежалъ на подстилкъ изъ соломы, около меня стояло два деревянныхъ ящика. На одномъ изъ нихъ сидълъ совсъмъ бълый старикъ, на другомъ лежалъ хлъбъ и стояла глиняная миска съ чъмъ то, похожимъ на супъ.

— Ъсть! — прошепталь я.
Когда я утолиль голодь, сталь разглядывать своего хозяина. Въ полутьмъ — жилище было освъщено маленькимъ огаркомъ — лицо его, надъ которымъ нависла цълая шапка съдыхъ волосъ, показалось мнъ знакомымъ. Онъ также приглядывался ко мнъ.

— Яковъ!

Мы провели цълую ночь въ бесъдъ. Забывъ усталость, я разсказывалъ о своей жизни во Франціи, описывая мученія плъна, говорилъ о томъ, какъ тщетно старался пробраться сквозь загражденія.

— Можно пройти на берегъ, и даже очень корошо — задумчиво сказалъ Яковъ.
— Къ вамъ въ деревню?
— Деревни нътъ. Сожгли почти все. Многихъ выгнали. Лодки и тъ отобрали. Рыбакамъ съ голода умирать надо . . . Ну, ничего, пусть

они радуются — все равно, рано или поздно —

придетъ имъ конецъ . . .

— Вы върите, что Рига будетъ намъ возвращена? — тихо спросилъ я.

— Ну, еще бы! Развъ Богъ допуститъ, чтобы Латышская земля отошла въ руки ея смертельнаго врага? Нътъ, довольно радовались нъмщы! Довольно захлебывались кровью!

Глаза Якова сверкнули тъмъ же пророческимъ огнемъ, съ которымъ онъ рисовалъ мнъ нъкогда, въ лътній день, кровавыя картины . . .

— Я уже вижу конецъ имъ . . . страшный конецъ . . . Смута пройдетъ по всей ихъ землъ, и они вернутся въ свою страну — побъжденными . . А Латвія отойдетъ къ латышамъ, и жители разоренныхъ деревень вернутся въ свои родныя гивада... И снова зазвучать въ лъсахъ

Россія!

Цълыя сутки провелъ я въ его берлогъ, а вечеромъ, подкръпившись ъдой и взявъ съ собой немного на дорогу, мы вышли на маленькую тропинку. Старикъ увъренно велъ меня, черезъ за-росли и болота — къ морю. Этой тропинки я не помнилъ . Возможно, что она была про-топтана только въ послъднее время . . . Было темно и ненастно. Дулъ зюйдъ вестъ

Накрапываль дождь.

— Слава Богу, луна въ тучахъ — шепталъ старикъ — это хорошо . . . И зюйдъ-вестъ.

Я не спросилъ его, откуда онъ раздобылъ лодку. Это не былъ его старый и такъ хорошо знакомый мнъ ботъ. Мы прикръпили парусъ, и боковой вътеръ, накренивъ суденышко, злобно понесъ его впередъ.

Куда вы везете меня, Яковъ? — я си-лился перекричать все кръпчавшій вътеръ.
 Къ нашимъ! — донеслось словно из-

далека.

Вѣтеръ свирѣпѣлъ. Волны хлестали черезъ бортъ, и я вычерпывалъ воду какой то старой кружкой. Смерть подстерегала насъ въ каждомъ порывь вытра, таилась въ каждой набыжавшей волнъ.

Но смерть на этомъ вольномъ просторъ была мнъ милъе работы на оборону врага!

— Куда же вы, Яковъ? Неужели вы не останетесь здъсь? Зачъмъ вамъ возвращаться домой, гдъ все разрушено? Да въ эту погоду!

Смотрите, начинается настоящій штормъ!

— Нътъ, я поъду — упрямо отвътилъ ста-рикъ. — Что я буду дълать въ Россіи? — Я не знаю русскаго языка . . . И мнъ восемьдесятъ четыре года... Шторма я не боюсь. Я — морякъ ... И нъмцевъ — тоже ...

Прощайте... До свиданія — въ свободной

Латвіи !

Я кръпко сжалъ руку своего спасителя и долго смотрълъ еще, какъ исчезалъ въ предоазсвътныхъ сумеркахъ его нескладный черный . челнъ . . .

Погибъ ли онъ жертвой разбушевавшейся стихіи? Попался ли въ руки безпощадному вра-гу? Или добрался благополучно до родного пепелища — про то знаетъ только Одинъ Богъ . . .

Славный старый Яковъ, увидимся ли мы съ тобой въ твоей Латвіи, въ будущность которой ты такъ горячо въришь?

Твоя увъренность вдохнулъа вру и въ мою

отчаявшуюся душу и здѣсь, среди родного народа, надъ которымъ стряслась страшная бѣда, на родной землѣ, я вѣрю, горячо, страстно, что не все еще погибло, что взойдетъ солнце и надъ нашей многострадальной Россіей!

Плачъ сосны.

Точно сморщенное старушечье лицо выглянуло изъ льсу Это большая красная луна вставала надъ камышами. Поднималась льниво, медленно. Дошла до моста и словно остановилась. Луна — сама старушка — удивительно любитъ освъщать все ветхое, старинное, разрушенное. Знаетъ луна — оживаетъ все въ ея лучахъ, все старое становится молодымъ, зимнее — весеннимъ...

Тъни былого встаютъ въ старыхъ замкахъ. Говорить начинаютъ кресты забытыхъ кладбищъ...
Мостъ...

Старый, старый мостъ. Деревянный. Давно прогнила часть досокъ. Безобразно торчатъ щеп-ки изъ бревенъ, мягкихъ, какъ труха.

И зачъмъ только стоитъ онъ, безобразно закрывая видъ на большую Ръку, куда впадаетъ каналъ? "Старое Устье" — зовутъ его

крестьяне.

И на картахъ отмътили такъ... Закрываетъ видъ на Ръку и мъшаетъ пробъгать бълымъ плоскодоннымъ пароходикамъ. Пыхтятъ они, подползая къ мосту, смъшно шипятъ и сопятъ, а потомъ откидываютъ съ краснымъ пояскомъ, какъ на сигаръ, трубу, и, словно ломая шапку передъ старикомъ, проплываютъ между мостовыхъ устоевъ.

Стоитъ ли кланяться старику, что сторожитъ входъ въ Старое Устье? Много, много въковъ тому назадъ Ръка впа дала въ море не тамъ, гдъ теперь, между бълой башней маяка и длинной каменной грядой, кончающейся маячкомъ съ краснымъ глазомъ— туда, въ сторону буя - ревуна, что такъ плачетъ въ бурную погоду. Красный глазъ маячка — и красная головка буя. Они такъ похожи другъ на друга . . .

Еще дальше за буемъ-ревуномъ, — и помина его не было тогда — впадала Рѣка въ морскія воды. Тамъ, гдѣ теперь бѣлые пески, гдѣ поросшія соснами дюны. И говоритъ о прошломъ только лужица, заросшая камышомъ да тростникомъ, широкая — но мелкая.

Лужа - Старое Устье...

Да. здѣсь, много вѣковъ назадъ, впадала въ море Рѣка. И по широкому лону ея носились гонимыя вѣтромъ суда, и полоскались бѣлые паруса ихъ въ синемъ небѣ. За янтаремъ пріѣзжали сюда дѣти Востока и увозили съ собой цѣлыя груды этого сокровища древнихъ.

И войны — много войнъ — видъла на своихъ берегахъ Ръка. Сцъплялись крюками на ея устъъ, бились не на жизнь, а на смерть воины разныхъ странъ, и воды окрашивались пурпурною

кровью...

А теперь на томъ мъстъ, гдъ боролись они — бълые пески и густой камышъ...

Шепчутся камыши.

Они знаютъ. Они помнятъ...

Передало имъ въсть съмя, родившее ихъ — узнавшее тайну отъ своего отца камыша...

И такъ, изъ рода въ родъ, передается камы-шами сказаніе о томъ, что было...

Славныя страницы прошлаго. Имена великихъ

героевъ, давно забытыя людьми...

А сосны, растущія у Стараго Устья, знають ли онк?

— Знають, нав[‡]рное, знають! Отчего же иначе такъ плачутъ онъ, – такъ жалобно, скорбно плачутъ вечерами!

По правому берегу Устья, прямо на съверъ, уходить лъсная дорога. Подросли молодыя сосенки, и уже дають онъ и прохладу, и тънь въ лътніе знойные лни.

А рядомъ — ихъ старшее поколъніе.

Открыта всъмъ вътрамъ дорога, и съ моря, и съ Ръки. Осенью и зимой прилетаютъ они, все больше съ Ръки, и гнутъ. и гнутъ — все въ одну и ту же сторону — стройныя старыя сосны. Не могутъ противиться он в тому, кто сильные ихъ, и гнутся такъ, какъ хочетъ этотъ вътеръ. И вотъ, съ годами, наклонились онъ надъ дорогой, какъ странный живой навъсъ.

Вывороченыт уже корни у многихъ. Будетъ еще одна — двѣ сильныхъ бури, — и полягутъ онъ, загородивъ дорогу своими тълами.

Какъ бойцы, что пали въ неравной борьбъ.

Вь борьбъ съ тъмъ, кто сильные..

Тихо днемъ на лъсной дорожкъ. Молчатъ наклоненныя сосны, молчитъ и свъжая заросль.

Но только что скроетъ море красный солнечный дискъ, и погаснетъ алый отблескъ на верхушкахъ сосенъ — оживаютъ мертвые стволы. И странными голосами начинаютъ тогда пла-

кать сосны.

О чемъ? — Вспоминаютъ ли онъ древніе бои? О, нътъ, не такъ стары онъ, не были тогда еще даже съменемъ. Или переселились въныхъ чъи нибудь души - изъ множества тахъ, что носятся надъ полями сраженій? И теперь стонутъ эти души и просятъ молитвы?

— Упокой, Господи, души ихъ! плачутъ сосны. Тъхъ, что отдали свою жизнь за родину...
— Упокой, Господа, ихъ души!

Высоко надъ мостомъ стоитъ теперь луна. Бросаетъ лучи сквозь щели Стараго моста, рисуетъ узоры на темной водъ. Начертила посреди Устья свой колеблющійся столбъ . . .

Играютъ лучи . . .

. . . Не въка назадъ — даже двухъ десятильтій не прошло съ того дня, — шли по Старому мосту солдаты. Городъ былъ уже въ рукахъ воага.

Надвигался непріятель съ востока и юга. И съ съвера шли непріятельскія суда.

Былъ приказъ:

Отступить. Сдать городъ безъ боя.

На островъ, съ которымъ соединялъ берегъ Старый мостъ, было много военныхъ припасовъ. "Укръпленный островъ" — такъ назывался онъ съ давнихъ поръ. На устьъ Ръки сторожилъ, онъ, вмъсть съ кръпостью на томъ берегу, входъ въ городъ съ моря.

Много военныхъ припасовъ на островъ. А

врагъ въ двухъ шагахъ . . .

— Уничтожить. И отступить!

Горсточка храбрецовъ взялась уничтожить все, что могло пригодиться на островь врагу.

Поздно ночью тронулись они въ путь. Какъ проскользнули въ благопріятномъ ту-

манъ черезъ мостъ. На островъ.

И скоро запылали тамъ строенія, и красное зарево заполыхало въ осеннемъ небъ. И въ красномъ отблескъ этомъ колебались на мосту и у моста черныя тъни.

— Мостъ взорвать?

— Да! И побъжалъ уже маленькій, но зловъщій огонекъ по устоямъ моста.

• Добъжитъ — конецъ Старому мосту!
А горсточка храбрецовъ, лишившаяся отъ огня уже троихъ, уходила скоръе въ лъсъ. Подальше отъ моста, обреченнаго на гибель.

А за нею полыхало зарево . . .

Но не погибъ Старый мостъ. Съ вражескихъ судовъ увидъли зарево, и полетъли къ острову и мосту быстроходные катера.

Тушили мостъ. На островъ спасать было нечего . . . Стали обстръливать скрывшагося въ лъсъ врага. Высадились и преслъдовали его въ лъсу. Окружили и загнали къ Ръкъ.

. . . Ни одинъ изъ храбрецовъ не ушелъ . . . Не осталось ни одного, кто могъ бы разсказать о подвигъ немногихъ. Нигдъ не записаны ихъ имена. Никто не помянеть ихъ въ своихъ молитвахъ . . .

И не осталось следа о нихъ, ни въ летописяхъ войны, ни въ памяти народной. Потому что никто изъ ближнихъ деревень не видалъ и не слыхалъ, что дълалось ночью у моста. Выселены были всь жители изъ полосы, близкой къ фоонту.

И только луна, проглядывавшая своимъ серпочкомъ между бъгущихъ облаковъ, слыхала послѣдніе стоны, видала, какъ простирались изъ волнъ чьи то руки, и какъ равнодушно уносила живыхъ и мертвыхъ — своихъ и чужихъ — бурливая въ этотъ день Ръка . . .

Но луна не выдаетъ чужихъ тайнъ . . .

И только въ осеннія ночи, когда гудить вътеръ и высоко забрасывается на камыши волна; когда поднимается вода и заливаетъ далеко острова и островки Стараго Устья — при свътъ луны выходятъ на мостъ блъдныя тъни.

Блестять въ ея лучахъ офицерскіе погоны начальника. Бълъютъ солдатскія фуражки. От-

ражаютъ лучи блестящіе штыки . . .

Идутъ они по мосту . . . идутъ . . . идутъ . . . Идутъ въ свой послъдній путь . . .

Тихо плещутся о чемъ то волны Стараго Устья.

: Шепчутся камыши.

38.5

Стонутъ сосны:

— Упокой, Господи, души рабъ Твоихъ! Рабъ Твоихъ — животъ свой на полъ брани

ТОЛОЖИВШИХЪ . . .

Звъзда славы и скорби.

— "И вотъ, когда родился Христосъ, Мать положила Его въ ясли, и, ставъ на кольни, смотръла на Свое Дитя. А Онъ лежалъ и улыбался, и вся пещера наполнялась яркимъ свътомъ отъ этой улыбки.

А надъ пещерой стояла звъзда, такая большая, такая яркая, какой не было отъ въка на южномъ небъ . . .

Вотъ видишь, мой мальчикъ, сколько звѣздъ надъ нашими головами? И большія, и маленькія, и яркія, и блѣдныя, даже тѣ, которія еле замѣтны въ сильные телескопы, давно извѣстны, сосчитаны. имѣютъ свои названія . . . Теперь у насъ есть большія подзорныя трубы, различные мудреные инструменты, — но и тогда, двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, ученые знали уже всѣ видимыя звѣзды. И вотъ тѣ, что наблюдали за теченіемъ свѣтилъ, замѣтили въ одну ясную ночь, что высоко въ небѣ заблестѣла блѣдною точкой новая звѣзда. Каждый вечеръ стали смотрѣть они въ ту сторону неба — и съ каждой ночью звѣзда разгоралась все ярче и ярче . . .

И скоро стала она такъ ярка, что не только всю ночь царила на небъ, видимая и въ ненастье, сквозь облака, — даже вечеромъ видъли ее волхвы, когда горъли еще лучи румянаго за-

ката . . .

Стали думать мудрецы, и ръшили, что звъзда предвъщаетъ великое для всего человъчества событіе. Въ старыхъ книгахъ прочли они, что въ странъ Іудейской долженъ родиться Великій Царь, и сказали:

"Се звѣзда Царя Іудейскаго . . ." И задумали итти поклониться Царю. Звѣздной ночью вышли они въ дальній

путь и пошли въ темноту искать Того, Чье рожденье возвъстила имъ серебряная звъзда.

Проходили города и страны и спрашивали:

— Гдъ родившійся Царь Іудейскій?

Но качали головами встръчные, и никто, кромъ звъзды, не зналъ, гдъ лежитъ Родив-

шійся . .

А звъзда шла передъ волхвами день и ночь: днемъ сіяла она передъ ними бълой точкой у горизонта, а по ночамъ блестъла надъ ихъ головами, яркая, какъ луна . . .

И все разгоралась . . . разгоралась . . .

И пришли волхвы, наконецъ, къ пещеръ, гдъ лежалъ родившійся Царь, и поклонились Ему, и принесли дорогіе дары.
А Онъ лежалъ и улыбался . . . Царь вселенной, Онъ родился въ бъдности, и никто не зналъ о Его рожденіи, и никто, кромъ чужестранцевъ-волхвовъ и добродушныхъ пастуховъ не пришелъ поклониться Ему . . .

Но вотъ донесли царю Ироду:

— Чужіе люди ходили по твоей странв и спрашивали: "Гдв родившійся Царь Іудейскій?" И обезпокоился за власть свою неправедный, и издаль неслыханный приказь: перебить всвхъ младенцевъ-мальчиковъ, родившихся со времени появленія звъзды.

Полилась по Іудев невинная дътская кровь, заплакали матери и прокляли Ирода царя страш-

нымъ проклятіемъ. Такъ и осталось имя Ирода навъки проклятымъ, какъ имя Іуды и Каина . . . Но повелълъ ангелъ, и взяла Святая Дъва Младенца, и вмъстъ со святымъ Іосифомъ бъжала ночью въ чужую страну . . . И были они такіе же безпріютные бъженцы,

какъ и мы . . . "

Блъдная женщина замолчала, и, гладя ласково курчавую головку сына, лежавшую у нея на колъняхъ, устремила глаза въ высь, къ зимнему звъздному небу. Тихо было въ лъсу. Потрескивало только пламя костровъ, слышался изръдка дътскій плачъ, и смутно гудълъ человъческій говоръ. Здівсь, подъ старыми соснами ліса, въ холодныхъ землянкахъ нашли пріютъ тів, кому некуда было больше итти, у кого не было больше ни дома, ни крова . . . И эту великую ночь встръчали они въ холодныхъ снъгахъ, въ глухомъ лъсу, — какъ встръчали ее ихъ далекіедалекіе предки.

— Мамочка... а что сталось со звъздою? — Со звъздой? — задумчиво повторила женщина — со звъздою ...

— "Звъзда все дожидалась, когда придутъ люди, чтобы поклониться Спасителю, придутъ и провозгласять Его Царемь Іудеи и всего міра, чтобы заблестьть тогда яркимь солнцемь . . . Солнце небесное померкло бы тогда передъ лучами великаго солнца славы Небеснаго Царя . . .

Но люди не шли.

И не только не прославили Спасителя, а воздвигли на Него жестокія гоненія.

И въ ту ночь, когда святые Бъженцы покинули родину, чтобы итти въ чужую страну — въ ту ночь новая звъзда потеряла свой первый яокій лучъ.

И потомъ, видя полную горя земную жизнь Христа, звъзда все блекла, блекла, блекла — и

наконецъ стала еле замътной точкой . . .

Ты знаешь, мой мальчикъ, какой скорбной была жизнь Христа, какъ не поняли Его люди, какъ предали Его, какъ претерпълъ Онъ за насъ и муки, и коестную смеоть...

муки, и крестную смерть . . .
И въ тотъ страшный часъ, когда кончалъ земную жизнь на крестъ Царь Царей — въ этотъ часъ померкла совсъмъ Его скорбная звъзда и исчезла въ безконечныхъ высо-

тахъ . . .

Но есть въ народѣ преданье, говорятъ, что въ свѣтло-лазурное утро, когда всталъ изъ гроба Іисусъ — на разсвѣтѣ опять засіяла Его звѣзда, такая же яркая, такая же чудная, какъ въ день Его рожденія . . .

Засіяла она въ тотъ мигъ, когда вышелъ Воскресшій изъ темной могильной пещеры, а потомъ, когда полился радостный свътъ восходившаго солнца, она исчезла въ игравшихъ алыхъ

лучахъ зари ...

И заблестить она снова только въ тоть день, когда, въ блескъ величія и славы, придетъ Небесный Судія вершить послъдній, страшный и праведеный Судъ..."

— И никто не видълъ больше этой звъзды?

— тихо спросилъ мальчикъ.

Могутъ видъть ее и живые — но лишь тъ, чей умъ просвътленъ, и чье сердце очищено страданіями . . . Когда слишкомъ тяжело жить,

[—] Когда умираетъ человъкъ, его очи могутъ видъть то, чего не видимъ мы, живые. Такъ въ часъ смертный всъ видятъ въ небъ — золотую звъзду Спасителя . . .

когда не подъ силу больше бороться съ ложью, съ несправедливостью міра сего, когда душа изнемогаетъ въ борьбъ съ злобно-смъющейся жизнью — тогда человъкъ можетъ видъть тамъ, въ высотахъ, золотую звъзду своего Искупителя.

Скорбную звъзду того, Чей терновый вънецъ не сравнится по блеску съ царскими золотыми вънцами . . .

И кто видьль свыть этой незримой звызды

— тотъ не забудетъ его вовъки . . .

— Ты видѣла ее когда нибудь, мама? — спросилъ мальчикъ, прильнувъ къ блѣдной рукѣ.

— Нътъ, я не видъла — грустно отвъ-

тила мать.

— A папа?

— Папа? — Папа, можетъ быть, и видитъ ее теперь, лежа въ холодныхъ окопахъ. Тамъ многіе видятъ звъзду... Тамъ, милый, всъ — страдальцы . . . всъ святые . . .

Мать замолчала, и унеслась мыслями далеко — далеко, туда, гдв, надъ снъжными полями, надъ рядами пушечныхъ жерлъ, надъ темными траншеями, надъ чутко дремлющими воинами — въ холодномъ зимнемъ небъ сіяетъ, незримая никому, великая звъзда — великой человъческой скорби . . .

Спавный мальчикъ.

Они познакомились на садовомъ праздникъ. Онъ понравился ей тъмъ, что въ немъ было что-то юношески-свъжее, чего не было ни въ комъ изъ окружавшихъ ее мужчинъ

Лидія Петровна привыкла читать во взглядахъ окружающихъ восхищеніе своей красотой, неприкрытое — подчасъ даже наглое желаніе

Въ его глазахъ она видѣла что то совсѣмъ другое, чего еще не умѣла прочесть и разгадать. Она видѣла, что нравится Озерову, между тѣмъ, онъ не дѣлалъ никакой попытки къ сближенію. Даже, когда они кружились въ волнующемъ ритмѣ вальса, онъ не пожалъ ея руки крѣпче обычнаго

Это было для Лиліи Петровны и странно, и ново. Она не любила заствичивыхъ мужчинъ. Но въ немъ эта заствичивость нравилась: онъ былъ еще такъ молодъ, смотрвлъ вокругъ такими довврчивыми юношескими глазами. И женственная робость была ему къ лицу.

венная робость была ему къ лицу.

И, когда Лидія Петровна впослѣдствіи вспоминала этотъ вечеръ, разноцвѣтные фонарики, звуки вальса, такъ долго остававшіеся въ памяти,

она мечтательно шептала:

Славный мальчикъ!

Его взглядъ, голосъ, манеры напоминали что то почти позабытое, далекое, какъ сонъ. Сквозь туманъ пустыхъ и случайныхъ, ничего не

Они видѣлись послѣ этого раза три. Первый разъ это было у знакомыхъ въ большомъ обществъ. Лидія Петровна не разъ ловила его взглядъ. И досадно было, что онъ не подходитъ.

Затъяли горячій споръ о какомъ то австрійскомъ ультиматумъ. Озеровъ сталъ центромъ спорящихъ. Куда дъвалась вся его застънчивость! Глаза разгорълись весь онъ словно выросъ. Лидія Петровна украдкой любовалась его

красивымъ лицомъ и съ досадою думала:

— Тоже, нашли время для политики! Кому интересны эти австрійскіе ультиматумы!

Лидія Петровна читала въ газетахъ только фельетоны, объявленія, хронику, смъсь и обзоръ дамскихъ модъ. А въ телеграммы даже не заглядывала.

Видя, что спору не предвидится конца, она занялась своимъ старымъ поклонникомъ, отставнымъ капитаномъ, который предпочелъ ея улыбку всьмъ политическимъ спорамъ и провелъ съ ней весь вечеоъ.

На слъдующій день они столкнулись на . Ажели

— Вы знаете, конечно, — началъ онъ еле поздоровавшись — въдь Сербія не приняла ульти-

нельзя говорить о чемъ нибудь другомъ, какъ о политикъ?

Поэтому она сказала холодно:

— Меня ваша политика никогда не интересо-

вала и не интересуетъ!

— Помилуйте! — искренне удивился Озеровъ — да въдъ весь міръ сейчасъ говоритъ объ этомъ!

— А я не интересуюсь! — отвътила она

капризно.

- Не върю этому! Можно, конечно, не интересоваться тамъ какой нибудь мексиканской революціей или положеніемъ жандармеріи въ Персіи, но тъмъ, что такъ близко соприкасается съ нами? Въдь Россію непремънно втянутъ въ войну, да и нельзя иначе, вотъ увидите! горячился Озеровъ.
- Я принципіально противъ войны, противъ кровопролитія! отвътила Лидія Петровна. Конечно, это были не ея слова, и сказала она эту готовую фразу просто такъ, кстати. О томъ, нужна ли война, Лидія Петровна никогда не задумывалась. Впрочемъ она вообще не имъла привычки задумываться надъ серьезными вопросами
- Я тоже не за войну. Но, разъ война будетъ, и меня призовутъ — пойду съ радостью.
 - Война въдь такой ужасъ!
- Да, конечно . . . и, знаете, самое страшное не то, что убъютъ, хотя, конечно, жить хочется . . . А вотъ мысль о томъ, что ты можешь лишиться руки, ноги, стать жалкимъ инвалидомъ, въ тягость себъ и другимъ . . . И все таки, эта мысль не остановила бы меня! прибавилъ онъ, помолчавъ.

Они присъли на скамейку. Какъ завороженная, спала передъ ними морская гладь; на

югѣ блестѣла она такъ, что глазамъ было больно.

Озеровъ молчалъ. И она не прерывала молчанія. И не было сейчасъ досадно, что этотъ человъкъ, который ей нравится, не говоритъ съ ней такъ, какъ принято съ хорошенькой женщиной.

Въ этомъ молчаніи быль покой. И было такъ хорошо. И откуда то снова выплывали воспоминанія первой юношеской любви . . .

Но вотъ грянулъ громъ девятнадцатаго іюля и раскаты этого грома долетъли даже до сонной души Лидіи Петровны. Пробудили въ ней новыя — а можетъ быть, только глубоко спавшія — чувства . . .

Хотьлось видьть людей, говорить съ ними о томъ, что никогда дотоль не интересовало, а теперь вдругъ стало самымъ главнымъ. Дълать что то такое, что дълали всв. . . Какъ увлекающаяся натура, Лидія Петровна отдалась общему теченію: ударилась въ политику, стала читать телеграммы и газеты, а по вечерамъ, съ такимъ же увлеченіемъ, съ какимъ въ прошломъ году изучала танго, ходила въ мастерскую, гдв шили бълье для воиновъ. И, хотя работала тамъ больше языкомъ, чъмъ иглой — все же возвращалась домой довольная и удовлетворенная.

Да, прежде всего, это было сейчасъ модно...

Разъ вечеромъ зашелъ къ ней Озеровъ, который ни разу еще не былъ у нея, и о которомъ она стала даже какъ то забывать за этотъ лихорадочный мъсяцъ.

 Развѣ и васъ берутъ? — спросила она слегка разочарованно, глядя на новенькую военную форму.

— Нътъ, я иду добровольцемъ.

— Зачъмъ? — вырвалось у Лидіи Петровны — какъ будто бы и безъ васъ тамъ не довольно людей!

Стыдно, Лидія Петровна! — серьезно

сказалъ Озеровъ.

И ей стало, дъйствительно, стыдно, какъ школьницъ, которую поймали на какой нибудь глупости.

Онъ сидълъ недолго. И Лидія Петровна все время думала о томъ, почему онъ не такой,

какъ другіе . . .

— Вотъ, сидитъ со мной наединъ. Знаетъ — не можетъ не знать, что онъ мнъ нравится. И я ему нравлюсь . Иначе бы онъ не зашелъ прощаться. Ахъ, почему онъ такой застънчивый!

И когда онъ всталъ, чтобы проститься — Лидіи Петровнъ стало такъ грустно, словно она отпускала отъ себя кого то безконечно дорогого . . .

А когда онъ наклонился къ ея рукъ — не съ тъмъ казеннымъ поцълуемъ, которымъ цълуютъ руку замужней женщинъ — она какъ то робко прикоснулась губами къ его бълокурымъ волосамъ.

А онъ поднялъ на нее свои голубые глаза и прошепталъ:

- Спасибо!

И взглядъ этотъ долго снился Лидіи Петровнъ.

Была мода на яркій цвътъ танго . . . Была мода на юбки съ разръзами до колънъ. Теперь

самымъ моднымъ сталъ съренькій костюмъ

сестры милосердія.

Лидія Петровна тоже смінила дорогіе на-ряды на скромное платье и косынку съ краснымъ крестомъ (которая была ей, кстати сказать, очень къ лицу ..)

Сознавала ли она всю отвътственность принятаго на себя дъла? Думала ли о томъ, какой тяжелый трудъ ей предстоитъ? Чувствовала ли призваніе служить своему ближнему?—Врядъ ли... Просто, это было модно. а Лидія Петровна скучала и не знала, чъмъ заполнить праздные

дни . . .

У нея была хорошая протекція. И въ лазареть ее тертьли. Именно только терпьли, потому что пользы отъ нея было мало. Не то, чтобы у нея не было желанія — Лидія Петровна была просто бълоручка и не умъла взяться ни за какую мало мальски самостоятельную работу. Она была изнъжена, слаба здоровьемъ и слово "долгъ" было для нея пустымъ звукомъ

Старшая сестра относилась къ ней снисходительно. Доктора ее не особенно любили. Кромъ молодыхъ, которые не могли не обращать вниманія на интересную сестру, которая находила среди лазаретныхъ заботъ время и завиться,

и напудриться, и подвести глаза. А Лидія Петровна, для которой уходъ за собой до сихъ поръ былъ чуть ли не главнымъ содержаніемъ жизни, — не могла понять психо-логіи старшей сестры, гладко причесывающей свои красивые волосы, носившей нескладно сшитый халать и руки которой не только давно

не знали маникюра, но даже огрубъли.
— Если бы она пріодълась и причесалась—
она была бы очень недурна— въдь она же

молодая!

Лидія Петровна недоумъвала, хотя начала уже смутно сознавать, что та, пожалуй, права. Но не могла же она такъ сразу порвать со всъмъ, что съ дътства привыкла возводить въ культь: хорошо сшитое платье, модная прическа, изящный маникюръ. Изъ этого же состояла главная половина ея жизни...

Если это несущественно, — что же тогда

существенно и важно?

Этого Лидія Петровна еще не сознала, хотя и чувствовала, что въ ея жизни готовится какой то переломъ, что близится что то важное и значительное.

Она не могла войти, какъ слѣдуетъ, въ лазаретную будничную жизнь. Первое увлеченіе новизной прошло, и она начала ощущать уже тоску — порой даже отвращение къ этому ряду бълыхъ холодныхъ коекъ, къ этому спертому воздуху, пропитанному карболкой и іодомъ.

Лазаретъ сталъ ей казаться тюрьмой и удерживало ее тамъ только самолюбіе ...

Съ равнодушнымъ, скучающимъ видомъ принимала Лидія Петровна въ апрълъ новую партію раненыхъ 11 вдругъ, по какой-то кине-матографической случайности, среди прибывшихъ оказался и онъ — ея "славный мальчикъ"! Съ этого дня Лидія Петровна измѣнилась. Съ лица ея исчезло выраженіе въчнаго недовольства. Отношеніе къ обязанностямъ стало добросовъстнье, обращение съ ранеными ровнье. Лидіи Петровнъ словно стало стыдно, что Озеровъ видитъ въ ней то, чего въ ней нътъ, и она торопилась наверстать потерянное.

Рана Озерова была неопасная. Онъ по-

правлялся быстро. Лидія Петровна окружала

его всевозможными заботами и только, когда замвчала его укоризненный взглядь, вспоминала. что есть еще и другіе раненые, ждущіе отъ нея помощи.

Озеровъ выписался из лазарета. Завтра онъ долженъ былъ вхать на фронтъ. Сегодня они проводили вмъстъ послъдній день. Лидія Петровна помѣнялась дежурствомъ съ другой сестрой, чтобы весь этотъ вечеръ пробыть вмѣстѣ.

Они сидъли въ городскомъ саду. И молчали,

какъ тогда у моря. Май былъ въ этомъ году холодный. Все распускалось поздно. Весна была похожа

— Вотъ, никогда не подумалъ бы, чтобы вы

пошли въ сестры, - сказалъ Озеровъ.

И эти слова нарушили ея молчаніе. Сбивчиво и туманно стала разсказывать она все, что передумала и перечувствовала за эти недъли. Говорила о томъ, что не умъетъ быть на высотъ своего призванія. Что хочетъ дълать добро — и не умъетъ. И какъ ей стыдно, что онъ считаетъ ее лучше, чъмъ она есть.

Озеровъ ласково взялъ ея руку.

— He ваше дъло это, голубушка. – Быть сестрой милосердія— подвигъ. На это нужны особыя силы, особая энергія. И все таки, много значитъ, что вы пересилили себя, пойдя на это трудное дъло.

Много еще говорилъ Озеровъ — и Лидія Петровна чувствовала, что онъ понимаетъ ее, ея стремленія, ея душу — до которой до сихъ поръ

не было, какъ будто бы, дъла никому.

Говоря, онъ сжималь ея тонкіе пальцы. Это была единственная ласка, которую до сихъ поръ позволилъ себъ Озеровъ . . .

И все таки старая сказка проснулась и властнозаявила о своихъ правахъ . . .

Озеровъ уъхалъ на фронтъ Но лазаретъ долго еще былъ полонъ оставленнымъ имъ свътомъ и много лътнихъ вечеровъ освътилось этими яокими воспоминаніями...

Онъ писаль теперь часто, и письма эти дополнили то, чего они не могли сказать другъ

другу въ минуты встрѣчъ. Ея "славный мальчикъ" сталъ теперь — ея женихомъ.

Двънадцать лътъ тому назадъ у Лидіи Петровны тоже былъ женихъ. Но какая разница

-- тогда и теперь!

Три года съ нелюбимымъ, безразличнымъ человъкомъ, давшимъ ей обезпеченное существованіе, исполнявшимъ ея капризы и прихоти, — но которому не было никакого дъла до ея души... Для котораго она была и осталась красивой игрушкой.

Три года, растянувшіеся въ въчность, полные постоянной жажды чего то туманнаго, неяснаго для нея самой, увлеченій, разочарованій и

... снамки

Со смертью мужа спала съ Лидіи Петровны цъпь, — но уже не было желанія и умънія приложить къ жизни нетронутыя силы. Такъ и осталась въчная неудовлетворенность и жажда чего то сильнаго и яркаго, чего не дала жизнь.

Въ концъ лъта письма прекратились. Лидія Петровна стала съ безпокойствомъ просматривать списки убитыхъ и раненыхъ, съ

трепетомъ раскрывая каждый номеръ "Русскаго Инвалида". Пока имени Озерова тамъ не встрътилось...

Она опять стала относиться небрежно къ своимъ обязанностямъ, снова опротивълъ ей лазаретъ, койки и раненые Вся полная своей любви — послъдней любви увядающей женщины — она ждала извъстій и грустила . . . И, на-конецъ, нашла имя Озерова въ спискъ пропавшихъ безъ въсти . . .

Руки ея опустились. Не стало охоты ни

къ чему. Она какъ-то сразу поблекла, завяла ... Лидія Петровна бросила лазаретъ и уъхала къ родственникамъ въ Петроградъ. Но пустая свътская жизнь не могла заполнить ея души. За этотъ годъ она привыкла все таки къ работь, и скучала безъ привычнаго труда . . . Въ общество ее больше не тянуло. Избалованная всеобщимъ поклоненіемъ, она была сильно задъта тъмъ, что многіе проходили мимо нея теперь безъ вниманія, отдавая свои взоры болье молодымъ. Лидія Петровна стала сознавать, что спъта

ея лебединая пъсня.

Коасота увядала быстро и безпощадно.

Однажды, проходя съ двоюродной сестрой мимо Финляндскаго вокзала, она попала въ громадную толпу.

— Въ чемъ дъло?

— прибыль повздъ съ инвалидами, отпущенными изъ Германіи.
Онв хотвли было пройти мимо, но толпа подхватила ихъ и понесла на вокзалъ. Пыхтя и отдуваясь, подходилъ уже длинный повздъ.
Засуетились санитары и сестры. Задвигались носилки. Послышалось хлопанье дверей. Рас-

талкивая толпу, пользли впередъ какія-то лич-ности съ фотографическими аппаратами. Полиція дълала пооядокъ.

Мощное "ура" огласило воздухъ при появленіи первыхъ инвалидовъ. Въ воздухъ замелькали

шапки, посыпались цвъты.

Они выходили изъ вагоновъ, опираясь на руку сестеръ, измученные, исхудалые, съ блѣд-ными лицами, говорившими безъ словъ о всѣхъ ужасахъ германскаго плъна. Чахоточные, безрукіе, хромые, — длинной вереницей шли они изъ вагоновъ.

Лидіи Петровнъ вспомнились слова Озерова: — Ужасна мысль, что ты можешь стать ин-

валидомъ, въ тягость себъ и другимъ.

— Вотъ это — пострадавшіе отъ газовъ. — объясняль какой-то студенть съ повязкой Краснаго Креста, указывая на новую группу у однихъ поражены всъ внутренніе органы, у другихъ пострадалъ мозгъ, иные лишились зовнія . . .

Сестра выводить блъднаго бълокураго офицера. Два Георгія бъльють на его груди. На видь онь совсьмъ здоровъ. Только странно жутокъ взглядъ этихъ безцвътныхъ остеклянъв-

шихъ глазъ.

— Слъпой ...

Ръзкій крикъ слышится въ толпъ. И, расталкивая невольно подавшуюся назадъ публику, протискивается впередъблъдная, безцвътная женщина. Она хочетъ что-то сказать — но только глухія рыданія вырываются изъ ея груди.

И, обнявъ слъпого съ материнской нъж-

ностью, она можетъ только прошептать:

— Мой славный... мой бъдный, бъдный мальчикъ!

Враги.

Въ офицерской землянкъ было накурено,

душно, жарко.

Н-скій полкъ стояль здѣсь третій мѣсяцъ, съ того самаго дня, какъ выбилъ непріятеля изъ деревни и отбросилъ его на ту сторону рѣки. Было тихо. Это было то состояніе, которое въ офиціальныхъ донесеніяхъ опредъляется словами: "На фронтѣ артиллерійская борьба съ перерывами и поиски развѣдчиковъ".

Дълать было нечего. Всъ офицеры давно успъли хорошо узнать другъ друга. Разговаривать было не о чемъ. Сидъли по угламъ землянки, и,

что называется, "томились".

— Хрипуновъ идетъ! — закричалъ вдругъ стоявшій у окна поручикъ Комаровскій, и офицеры радостно подхватили восклицані товарища, словно услышали въ немъ какое то откровеніе.

— Какой Хрипуновъ? — лѣниво спросилъ прапорщикъ Иваницкій, который, несмотря на свое трехмѣсячное пребываніе въ полку, не зналъ по фамиліи ни одного солдата. Всѣ они, по его мнѣнію, были "на одно лицо" и отличить одного отъ другого ни было никакой возможности. Вообще Иваницкій смотрѣлъ на солдатъ, какъ богатый баричъ привыкъ смотрѣть на "это мужичье".

По бълому полю, разстилавшемуся бугорчатой пеленой до самаго горизонта, двигалась черная точка, въ которой только очень зоркій глазъ

могъ различить фигуру солдата.

— Объясните мнѣ, что это за Хрипуновъ, и что въ немъ особеннаго? — спросилъ Иваницкій, заинтересованный общимъ вниманіемъ къ солдату.

— Ну, какой вы! — разсердился даже нервный Комаровскій, — навърное, вамъ не отъ кого письма получать! Это же Хрипуновъ, который вызвался сходить на почту!

— На почту? — сонное лицо Иваницкаго оживилось и въ глазахъ его загоръдся тотъ же напряженный огонекъ ожиданія, что и у остальныхъ.

Какъ медленно идетъ этотъ Хрипуновъ, и какъ интересно слъдить за его приближеніемъ! Но не только простое любопытство въ этомъ нервномъ ожиданіи: къ нему примъшивается и другое, болье серьезное чувство. Смотръвшіе изъ окна отлично знали, что поступокъ Хрипунова — далеко не простая прогулка. Тропинка, причудливо извивавшаяся, шла въ одномъ мъстъ по самому берегу ръки, и шедшій по ней представлялъ собой прекрасную мишень для "пробной" стръльбы нъмецкихъ стрълковъ.

— Въдь что ему стоило взять немного поль гору и пойти полемъ, чай ужъ не так:е тамъ сугробы, что не пройдешь... А онъ претъ себъ прямо на рожонъ! — возмущался капитанъ Дальскій. — Пропадетъ ни за что, ни про что! —

— Пропадетъ ни за что, ни про что! — Дураки будутъ нъмцы, если не снимутъ! — сказалъ извъстный пессимистъ поручикъ Антоновъ.

Ну, не каркай, ворона! — прикрикнулъ

Дальскій.

— Сверни съ тропинки, Хрипуновъ! — кричалъ, волнуясь. Комаровскій, какъ будто бы солдатъ могъ его слышать

И вдругъ, какъ бы въ подтвержденіе пророчества Антонова, съ нъмецкой стороны взвились два синихъ дымка. Но Хрипуновъ, словно бравируя опасностью, даже не ускорилъ шаговъ. — Онъ какъ будто нарочно лѣзетъ на смерть, мерзавецъ! — бросилъ Антоновъ.

— Ерунда, онъ уже миновалъ линію обстръла. Его прикрываетъ холмъ — спокойно возразилъ Дальскій. Всъ облегченно вздохнули. Хрипуновъ теперь быстрыми шагами при-

ближался къ землянкъ.

Когда Хрипуновъ вошелъ въ землянку и сталь застывшими отъ мороза руками развязывать сумку, весь центръ вниманія перенесся сразу на эту сумку. Только Комаровскій похлопаль Хрипунова по плечу, бросивъ ему добродушное: "Молодецъ!"

Хрипуновъ доставаль, не торопясь, пачку за пачкой, передавая ихъ Антонову. Офицеры нетерпъливо, какъ дъти, заглядывали черезъ плечо товарищу, вырывали письма и газеты у него

изъ рукъ.

— A мнъ ничего? — разочарованно протянулъ Иваницкій.

Хрипуновъ заглянулъ въ сумку и медленно, словно намъренно мучая офицера, вытащилъ изъ нея розовый конвертикъ.

Иваницкій быстро схватиль его, потомъ лицо его разочарованно вытянулось и онъ про-

: ТАУНКТ

— И больше ничего́?

Но больше писемъ ему не оказалось.

Всв погрузились въ чтеніе. Кто читалъ письма, кто пробъгалъ газету, кто заглядывалъ, черезъ плечо товарища въ газету, которую, тотъ читалъ, или въ его открытки. Никто не обрашаль вниманія на словно приросшаго къ земль солдата, который съ какимъ то мрачнымъ выраженіемъ слъдилъ за Иваницкимъ. Антоновъ поднялъ случайно ўголову и, за-мътивъ Хрипунова, сказалъ ему:

— Можешь итти!

А когда дверь за солдатомъ закрылась, онъ замътилъ:

- Какое странное лицо у этого Хрипунова.

Когда дневальный вошелъ вечеромъ въ "столовую", чтобы унести самоваръ, онъ замътилъ Хрипунова, со смущеннымъ видомъ вылъзавшаго изъ подъ стола.

— Ты что?

— Спички разсыпаль — отвътиль тоть, пряча что то въ карманъ. Но Хрипуновъ лгалъ. Онъ собиралъ не спички, а обрывки розоваго письма, небрежно разорваннаго послъ прочтенія Иваницкимъ. Онъ хотълъ собрать эти обрывки въ одно цълое, думая найти въ немъ разгадку той тайны, которая упрямо ускользала отъ него цълыхъ восемь мъсяцевъ, съ того самаго дня, когда призвали его на военную службу.

Если бы кто нибудь сказалъ Иваницкому, что у него, блестящаго офицера, есть соперникъ среди этого "пушечнаго мяса" — онъ расхохотался бы и назвалъ бы говорившаго сумасшедшимъ.

А между тъмъ это было такъ: прапорщикъ Иваницкій и нижній чинъ Хрипуновъ любили

одну и ту же женщину! Иваницкій зналь, что у хорошенькой бонны его сестеръ, которую онъ удостоилъ чести сдълать своей любовницей, есть женихъ — сама сказала, -- но ужъ, конечно, не интересовался вопросомъ, кто онъ и какъ его зовутъ. А когда хорошенькая Маша, которая издали казалась такой пикантной, а на дѣлѣ была мѣщански щепетильной, скоро надоѣла ему, онъ бросилъ ее со спокойной совѣстью. Иваницкій былъ увѣренъ, что она вернется къ своему жениху и выйдетъ за него замужъ, какъ "это всегда дѣлается у простыхъ". Онъ не зналъ — да ему было и не интересно знать, что женихъ Маши не былъ вовсе "простымъ", въ его смыслѣ, а имѣлъ сносною образованіе и былъ довольно интеллигентенъ.

Какое дъло ему было до той трагедіи, которую пережила брошенная имъ дъвушка, порвавшая изъ за него съ безумно любившимъ ее человъкомъ. Брошенная, опозоренная, она молча ушла, върнъе: была выгнана изъ дома, потому что мать его, мадамъ Иваницкая, не выносила "никакой безнравственности".

Иваницкій тогда уже быль на фронть. Сначала Маша молчала, но потомъ всльдъ за нимъ полетьли туда ел письма. Но онъ оставляль эти

розовые листочки безъ отвъта . . .

Хрипуновъ зналъ, кто отнялъ у него Машу. И когда Иваницкаго назначили къ нимъ въ полкъ, онъ счелъ это знаменіемъ. Отвлеченная ненависть получила вдругъ реальную почву, и вся жизнь Хрипунова, каждая минута вынужденнаго празднаго затишья съ тъхъ поръ, какъ стали здъсь, у ръки, наполнилась мечтой о мести.

Морозы смфнились, наконецъ, долго жданной оттепелью. Ледъ на рфчкф посинълъ и грозилъ уже дать трещины. Рфка была естественной границей между нашими и нфмецкими линіями. Съ тфхъ поръ, какъ мы отбросили нфмцевъ за

ръку, ни съ нашей, ни съ ихъ стороны не было попытокъ наступленія, но теперь мы р † шили использовать еще кр † пкій ледъ и попытаться занять первую герм нскую линію.

Для наступленія выбрали ясное весеннее утро Загрохотала на на артиллеріи, разметывая проволочныя загражденія непріятеля, и, послів трехчасовой подготовки, наши бросились на "ура"

черезъ ледъ

Хрипуновъ въ десятый разъ ходилъ въ атаку и ему было отлично знакомо это странное волнующее чувство. Онъ бъжалъ по темному льду не болье пяти минуть, но ему казалась, что онъ бъжитъ уже много много часовъ. Время остановилось, и на смену ему, вместе со смертью, обильно сыпавшейся изъ пулеметовъ и разрывавшихся снарядовъ, пришла на землю сама величавая Вычность. Глаза Хоипунова потеряли способность охватывать сразу большіе горизонты онъ видфаъ передъ собой что нибудь одно, и это одно казалось ему въ данную минуту самымъ существеннымъ, самымъ важнымъ. Сначала онъ вид вать кусочекъ берега Потомъ, добъжавъ и вскарабкав ись на него, нидълъ часть окопа, затымь сталь гнаться за отдыльными фигурами. быстро бъжавшими подъ нашимъ неожиданнымъ ударомъ. Добъжать, ударить штыкомъ. схватиться въ рукопашную - потомъ бъжать дальше, ища новую мишень

Хрипуновъ бѣжалъ, кололъ и смутно чувствовалъ, что за нимъ бѣг\тъ десятки сотни такихъ же Хрипуновыхъ которые такъ же бѣгутъ, колютъ, падаютъ. А за ними катятся новыя волны.

Вотъ на раненаго офицера насѣли три дюжихъ молодца въ матовыхъ остроконечныхъ каскахъ. И то самое важное, что нужно было сейчасъ сдѣлать, воплощается внезапно въ этомъ

офицеръ Хрупуновъ, угрожающе поднявъ штыкъ, ринулся на выручку — да такъ и замеръ съ поднятой рукой на мъстъ: узналъ въ раненомъ Иваницкаго!

Последній тоже узналь сопдата, вспомниль, вопреки обыкновенію, какь его зовуть, и отбиваясь

здоровой рукой, крикнулъ:

— Не выдай, братецъ Хрипуновъ!

А солдать стояль на одномь мьсть, и въ усталой оть тупого бездумья, что охватываетъ человъка въ бою, головъ, бъжали, толкая другъ друга, двъ мысли И если бы Хрипуновъ могъ поймать ихъ и оформить словами, солдатъ сказаль бы себъ:

— Это — твой врагъ, твой злъйшій врагъ. Пусть же онъ погибнетъ!

А другая мысль властно приказывала:
— Ты — солдатъ! Помни свой долгъ!

Иваницкій, изнемогая, смотръ ъ въ сторону пунова, не понимая, чего мед итъ спасите ь.

Хрипунова, не понимая, чего мед итъ спасите ь. И взглядъ этихъ глазъ быль такъ красноръчиво тоскливъ, и въ немъ свътилась такая жажда жизни и такой черный ужасъ смерти — что Хрипуновъ съ какимъ то звъринымъ крикомъ ринулся на крайняго нъмца.

Но въ глазахъ спасителя зажегся какой то злобный огонь и, наклонившись надъ офицеромъ,

онъ прохрипвлъ:

— Не тебя я спасалъ. Я спасалъ офицера! А тебя я ненавижу! Ты — мой элъйшій врагъ. Невъсту ты отнялъ у меня . . . невъсту . . . отнялъ, чтобы поиграть и бросить!

[—] Спасибо, Хрипуновъ! — прошепталъ Иваницкій, опускаясь на снъгъ рядомъ съ двумя мертвыми нъмцами. Третій быль раненъ и лежалъ поодаль, тяжело стоная.

Какъ гнвный мститель, стоя ты надъ офи-церомъ, весь окровавленный, страшный, раненый въ нвсколькихъ мвстахъ, Хрипуновъ, бормоча без-связныя угрозы и слова ненависти, Но Иваницкій больше не слышалъ: онъ ли-

шился сознанія...

Въ церкви звонили къ объднъ. Яркое апръльское солнце, пробиваясь сквозь занавъску окна, чертило на окнъ причудливые узоры. Маша одъвалась, стоя у зеркала. Черныя мысли мучали ее уже давно, съ того самаго дня, какъ получила она письмо отъ своего бывшаго жениха. Послѣ письма, въ которомъ она сообщила ему о разрывѣ, Хрипуновъ Машѣ больше не писалъ. И вотъ въ этомъ письмѣ, которое пришло почти черезъ годъ, онъ, какъ бы сознательно мучая Машу, писалъ ей о томъ, какъ встрѣтился съ Иваницкимъ на позиціяхъ, какъ узналъ его, какъ его ненавидитъ. Какъ узналъ изъея, Машинаго, письма ея адресъ.

Маша, зная хорошо ревнивый характеръ своего жениха, была увърена, что онъ исполнитъ свою угрозу и боялась за Иваницкаго.

Но ни на одно изъ писемъ, которыя летьли къ Иваницкому, на фронтъ, отвъта не было, даже на то, послъднее, въ которомъ Маша предупреждала его противъ Хрипунова.

Мысли, одна другой тяжелъй, мучили бъд-

ную женщину.

Въ передней было полутемно, и Маша не сразу узнала это блъдное изможденное лицо. А

[—] Маша, тебя спрашиваютъ!— Меня, тетя?

когда онъ, какъ то смущенно улыбаясь, взялъ ея руку своей лъвой рукой — Маша сразу замътила, что, у Иваницкаго вмъсто правой болтается пустой рукавъ.

И заплакала. Отъ радости ли, что снова видится съ нимъ, или оттого, что онъ — калъка.

Маша не знала и сама.

— Я думала . . . Хрипуновъ убьетъ тебя... пробормотала она сквозь слезы, высказывая мучившую ее послъдніе мъсяцы мысль — я писала тебъ о немъ.

Лицо Иваницкаго стало необычайно серьез-

нымъ.

— Я получилъ твое послъднее письмо уже въ лазаретъ. Но ты ошибаешься въ Хрипуновъ. Не будь его — я не былъ бы сегодня съ тобою. Онъ вынесъ меня раненаго — самъ раненый — изъ огня. Спасъ меня — цъной своей жизни . . . Удивительный человъкъ былъ этотъ Хрипуновъ...

И, слушая звонъ, разливавшійся въ чистомъ весеннемъ воздухъ, Иваницкій глубоко задумался — задумался о невъдомой ему, загадочной для него душъ русскаго солдата...

Махмутка и Сабержанъ.

Почему и кто прозвалъ ихъ такъ въ первый разъ — затрудняюсь сказать, но всѣ мы привыкли называть нашихъ татарчатъ "наши зайчата".

Ихъ было въ нашей ротъ два, оба похожіе другъ на друга, оба миловидные, съ ясными роношескими глазами. Мы считали "зайчатъ" мальчиками и обращались съ ними покровительственно свысока. Въ нашемъ мозгу долго укладывалась мысль, что Махмуткъ двадцать шесть лътъ, а Сабержанъ женатъ, и даже на двухъ.

Когда стало извъстно послъднее обстоя. тельство, оно дало пищу для безконечныхъ подтруниваній надъ Сабержаномъ, который никогда

и ни на что не обижался.

— Слышь ты, Баклажанъ, (такъ мы окрестили, для ради легкости, Сабержана) разскажи, какъ ты сразу женился на двухъ!

— Не сразу, не сразу! — моталъ головой Сабержанъ – сначала одинъ жена, потомъ –

доугой.

И не понималь, почему всв заливались

хохотомъ.

— А твои жены красивыя?—приставалъ ктонибудь.

— А онъ не дерутся между собой? — А почему у тебя двъ жены, а не три?

 Тои нельзя имъть — серьезно отвъчалъ Сабержанъ — три не по закону.

— Вотъ и врешь! Я знаю, что у васъ, мусульманъ, бываетъ и по двънадцати женъ.
— Бываетъ . . . И у васъ бываетъ Но не по закону А двъ — это законъ. Я хочу жить

по закону.

— Баклажанъ, а Баклажанъ, а если я поъду къ вамъ, въ Казань, можно мнъ тоже взять вторую жену? — приставалъ въ сотый разъ весельчакъ Муравлинъ.

— Тебъ нельзя. Когда твой жена помретъ-

можешь.

— Ну вотъ, это я могу и здъсь! А я хочу повхать въ Казань, и имъть сразу двухъ . . . а еще лучше трехъ женъ, красивыхъ, красивыхъ . . . Баклажань, а ваши женщины красивы?
— Поъзжай Казань — увидишь ...

Съ Махмутомъ разговаривали меньше: онъ былъ не красноръчивъ и застънчивъ. Когда его пробовали дразнить, онъ сначала застънчиво улыбался, а потомъ быстро раздражался и говооилъ:

— Казанскій кулакъ видаль? Нътъ? Такъ

вотъ, смотри!

Взаимная привязанность ихъ доходила до трогательнаго. Одинъ никогда не садился всть безъ другого, рядомъ сидвли въ окопахъ, вмъстъ шли въ атаку. Если одного назначали въ оаз-

въдку — обязательно просился и другой.

Они и ранены были въ одномъ и томъ же бою, осколками одной и той же гранаты. На перевязочномъ пунктъ ихъ чуть было не разлучили: тяжело раненаго Махмута хотъли автомобилемъ отправить въ ближайшій лазареть, Сабержанъ же вмъстъ съ другими, легко ране-ными, долженъ былъ итти къ жельзнодорожной станціи, гдъ ждалъ санитарный поъздъ. Но Махмутка такъ заволновался, сталъ такъ отчаянно просить не разлучать его съ товарищемъ, что докторъ, чтобы успокоить его, позволилъ Сабер жану тоже състь въ автомобиль.

Въ ла аретъ, гдъ лежало всего тридцать раненыхъ, "зайчата" обратили на себя всеобщее вниманіе. Махмутка быль очень нехорошъ. Снъ почти все время лежалъ безъ памяти и, когда приходилъ въ себя, начиналь сейчасъ тревож но оглядываться, ища Сабержана. Тогда послъдній поднимался на своей койкъ (ихъ постели стояли рядомъ) и, протянувъ руку, начиналъ гладитъ черную голову товарища, повторяя какія то безсвязныя — видимо ласковыя — слова.

Ночью, когда дежурная сестра засыпала въ тепломъ углу, у печки, Сабержанъ тихонько слъзаль съ постели, надъваль мягкія туфли и, пед кравшись къ Махмуткиной койкъ, опускался возлънея на колъни. Долго-долго могъ такъ стоять Сабержанъ, глядя въ потное лицо спящаго товарища.

Сабержанъ былъ самъ не свой, когда уно сили Махмута на операцію, онъ провожалъ но силки до дверей операціонной и, нав рное, зальзъ бы и туда, если бы не прикрикнула на него старшая сестра.

Махмутку положили на бълый столъ. Онъ оглядывался вокругъ мутными глазами, косился на блестящіе металлическіе инструменты, а потомъ подозрительно уставился на сестру, подходившую къ нему съ маской.

— Считай! — сказалъ ему докторъ, наклоняя надъ маской пузырекъ съ эфиромъ.

Махмутка началъ монотонно считать и считаль очень долго.

— И чего онъ не спитъ! — говорилъ док-

торъ, нетерпъливо вытирая полотенцемъ какой то инструментъ. — Навърное, алкоголикъ!

— Что вы, докторъ, въдь татары не пьютъ!

— заступилась за раненаго молоденькая сестра.
— Ну и наивны же вы, душечка! — отвътила ей старшая и, обратясь къ раненому, спросила:

— Махмутка, ты водку пилъ?

— Пилъ, пилъ! — радостно раздалось изъподъ маски.

— И много?

— Да такъ, каждый день понемножку!

Несмотря на всю серьезность момента,

окружавшіе не могли удержаться отъ смъха.

Младшая сестра разсказала за объдомъ всю исторію другимъ раненымъ, и лишь только Махмутка вечеромъ сталъ приходить въ себя, на него со встахъ сторонъ посыпались насмъщливые вопросы:

— Махмутка, ты водку пилъ?

Эта фраза долго еще служила темой дня

въ лазаретв...

У Сабержана рана живо зажила, но потомъ, какъ говорили солдаты, на счастье", стали отчего-то пухнуть ноги, такъ что и онъ залежался Попали они въ одну и ту же комиссію и были выписаны въ одинъ и тотъ же день.

У насъ въ ротв бурно привътствовали возвращение "зайчатъ", безъ которыхъ у насъ не хватало мишени для грубоватыхъ, но безобидныхъ солдатскихъ шутокъ.

Сабержанъ подробно повъствовалъ о жизни въ лазаретъ, гдъ его многое поразило, не приминувъ разсказать, какъ не могли усыпить Махмутку и какъ у него, Сабержана, докторъ два

раза принимался искать осколокъ, да такъ и не нашелъ.

— Такъ осколокъ и остался во мнъ! — кончалъ свой разсказъ Сабержанъ, повидимому, очень гордившійся послъднимъ обстоятельствомъ.

Татарчата вернулись къ намъ какъ разъ къ началу Рождественскихъ боевъ. Было жаркое дъло. Мы успъшно продвигались впередъ по дъявольски укръпленному пространству, каждая пядь котораго стоила немалыхъ жертвъ. На третій день была частичная неудача изъ за неподоспъвшихъ своевременно резервовъ. Пришлось отступить на версту, очистивъ только что занятый лъсокъ. Къ вечеру наступило затишье. Убирали раненыхъ. Ночью хоронили убитыхъ.

рали раненыхъ. Ночью хоронили убитыхъ. Хватились нашихъ "зайчатъ". Среди убитыхъ ихъ не было. Легко раненые, вернувшіеся съ перевязочнаго пункта, говорили, что и тамъ не

видали нашихъ любимцевъ.

— Попались въ плънъ? Да нътъ, они, черти, ловкіе — не сдадутся въ плънъ живыми!

Еще не конченъ былъ скромный обрядъ отпъванія, еще не засыпана была братская могила, какъ мы получили приказъ итти на развъдку въ только что очищенный лъсокъ. Насъ пошло трое. Уже брезжилъ разсвътъ, когда мы подошли къ опушкъ лъса, откуда хорошо были видны лихорадочно укръпленныя за ночь нъмецкія линіи.

Мы исполнили свое поручение и повернули обратно, когда до слуха моего долетъли слабые стоны. Я зналъ, что надо было торопиться, уходить, пока не замътилъ насъ непріятель, и ускорилъ шаги.

Но стоны были такъ навязчивы, такъ жалобны и протяжны, что я не могъ отказать

своему сердцу, и, пославъ нижнихъ чиновъ впе-

редъ, углубился въ чащу.

Шагахъ въ двадцати отъ тропинки я увидълъ нашего Сабержана. Онъ стоялъ на колъняхъ передъ трупомъ Махмутки и издавалъ протяжные стоны. Стоналъ, колотилъ себя кулакомъ въ

грудь и давился какими то гортанными звуками.
— Сабержанъ, — сказалъ я ласково, дотрагиваясь до его плеча, — идемъ, въдь тебя здъсь

могуть убить нъмцы.

— A онъ?

— Въдь онъ же мертвъ. Ни захватить съ собой, ни похоронить его мы не можемъ - надо торопиться

— Я не оставлю его! — упрямо отвътилъ

Сабержанъ.

— Глупый, въдь тебя же убьютъ нъмцы! — Ну и убьютъ! А я его похороню... По закону...

И лъсная тишина снова огласилась гортан-

ными звуками.

 Слушай, Сабержанъ, — сказалъ я ему тономъ начальника, — если ты останешься, тебя нъмцы или убьютъ тебя, или захватятъ въ плънъ. А такъ какъ ты остался здъсь самовольно — вый-

такъ какъ ты остался здвев самовольно — выидетъ, что ты, по доброй волъ, сдался непріятелю.
А ты знаешь, какъ называется такой поступокъ?
Сабержанъ посмотрълъ на меня большими
удивленными глазами. Потомъ всталъ, вытянулся
по солдатски, надълъ упавшую въ снъгъ фуражку

и молча пошелъ рядомъ со мной.

Мы нагнали моихъ молодцовъ на поворотъ. Муравлинъ, увидя моего спутника, закричалъ:
— А, Баклажанъ! А гдъ Махмутка?

— Махмута нътъ, — торжественно и какъ-то безнадежно отвътилъ Сабержанъ. И закрылъ лицо рукой, словно ему было больно смотръть на бълый снъгъ.

Мы шли молча къ своимълиніямъ. Вставалъ сърый, мглистый день. Падалъ мелкій пушистый снѣжокъ. Гдъ-то ухала артиллерія. Мнъ было грустно . . .

Свътъ и тъни.

Послъ трехдневныхъ жаркихъ боевъ наступило затишье.

Наши съ лихорадочной поспъшностью укръплялись на отнятомъ у непріятеля пространствъ. Нъмецъ зловъще молчалъ, старательно обдумывая реваншъ.

На перевязочномъ пунктъ было тихо. Сегодня за цълый день пришло только двое солдатъ, неосторожно высунувшихся изъ окоповъ, съ лег-

кими раненіями

Перевязочный пунктъ помѣщался въ мало пострадавшемъ барскомъ домѣ имѣнія, неоднократно переходившаго изъ рукъ въ руки. То есть имѣнія почти уже и не было, только груды развалинъ, среди которыхъ одиноко красовался бѣлый барскій домъ, защищаемый флагомъ Краснаго Креста.

Врачи и сестры пили чай въ старомодной гостиной съ потемнъвшими картинами въ золоченыхъ рамахъ, съ круглыми зеркалами и яркими персидскими коврами на облупленномъ полу. Старшій врачъ, раздражительный и злой на операціяхъ, но премилый добрякъ въ частной жизни, добродушно подсмъивался надъ "новенькой", пріъхавшей "изъ тылу" только двъ недъли тому назадъ

— Напрасно изводите Александру Георгіевну — она у насъ молодцомъ, — вступился за "новенькую" его ассистентъ, студентъ послъдняго

курса, смотря на свою сосъдку круглыми влюбленными глазами.

- Молодцомъ то молодцомъ, а все же такъ блъднъть не годится. Того и гляди, ее самое на носилки положатъ...
- Вы меня хотите окончательно обезкуражить, докторъ? — утомленно улыбаясь, отвътила Александра Георгіевна, — я вообще всегда бліздная Просто, вы меня не взлюбили съ самаго начала, Антонъ Дмитричъ!
- Откоовенно сказать, я вообще не долюбливаю неопытныхъ помощницъ. Возни съ ними много, а прокъ сомнительный. Впрочемъ, изъ васъ, пожалуй, прокъ будетъ.

— Очень лестно для меня, — улыбнулась сестра.

- Легкомыслія въ васъ этого бабьяго мало, вотъ это хорошо.

— Бабьяго — фи, какъ вы выражаетесь, докторъ! — возмутилась хорошенькая сестра, сидъвшая за самоваромъ.

— Ну, ладно, вы отъ меня еще и не такія выраженія услышать можете, сударыня... Извините — не салонъ здъсь вамъ, а позиціи...

- Я серьезно думала, что никогда не привыкну къ этому аду, — обратилась Александра Георгіевна къ своей сосъдкъ, боевой сестръ видъ крови и ранъ, это еще не такой ужасъ, какъ эти рвущіе сердце стоны. Первое время я слышала ихъ всюду, даже ночью. Не могла спать, мучимая галлюцинаціями. . Какой все таки **ужасъ** эта война . . И какое варварство! — тихо докончила она.
- Молоды вы еще, голубушка, но насмотовлись. Подождите — привыкнете, будете спать, какъ у себя дома, въ пуховой постели, и среди этихъ стоновъ... Ну, однако, пора и на боковую, надо же отоспаться за тои ночи. Сегодня то

было тихо, а что будетъ завтра — одинъ Господъвъдаетъ. Спасибо, господа, за компанію. Спокойной ночи!

Старшая сестра поднялась.

— А кто сегодня дежурить?

— Я — отозвалась Александра Георгіевна. Сестры начали расходиться. Повертъвшись около дежурной, ушелъ и студентъ. Въ столовой остались только докторъ, просматривающій газету, и дежурная сестра

— Устали, дъточка? — улыбнулся докторъ, вглядываясь въ ея блъдное лицо съ большими синяками подъ глазами. — Ну, сегодня отдохнете, — работы не предвидится. Велите принести себътуда подушку и одъяло. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — отозвалась Александра Георгіевна, посмотръвъ на доктора благодарными глазами. Этотъ ворчливый старикъ, который такъръдко бывалъ самимъ собой, внушалъ ей большую симпатію, даже больше — онъ казался ей роднымъ среди всъхъ остальныхъ, незнакомыхъ, непонятныхъ.

Александра Георгіевна еще не успѣла свыкнуться съ окружающей обстановкой. Вѣдь она пришла сюда изъ тыла, гдѣ смотрятъ на войну сквозь призму внѣдрившихся въ мозгу традиціонныхъ понятій. Ей казалось еще страннымъ, что сестры могутъ шутить при серьезныхъ перевязкахъ. Она находила дикимъ это легкое отношеніе къ смерти, какъ къ чему-то обычному, повседневному.

Александра Георгіевна не могла понять, какимъ образомъ, лишь только смолкнутъ голоса орудій, властно зовущіє къ долгу, серьезныя сестры и молодые офицеры превращаются въ веселыхъ, беззаботныхъ дътей.

Александра Георгіевна еще не сознавала, что-

близость смерти дълаетъ ее чъмъ то обычнымъ, вовсе не страшнымъ.

Она еще не поняла, что смерть оттънястъ жизнь, какъ тънь — свътъ, и что, видя такъ близко конецъ — мучительно хочется жить, пользоваться манящими благами человъческой жизни, взять отъ нея поскоръе, что есть у нея свътлаго, яркаго, волнующаго ...

Оттого-то и казались ей чуждыми эти веселые, брызжущіе силой и здоровьемъ офицеры, которыхъ уже завтра, быть можетъ, ждетъ холодная земля... Оттого сторонилась она смъющихся,

кокетливыхъ сестеръ . . .

А онъ, въ свою очередь, не могли понять грустной женщины съ серьезными глазами, пришедшей къ нимъ изъ другого міра

Она не понимала ихъ, потому что не понимала уже больше и самой жизни: у Александоы Георгіевны все было въ прошломъ.

Дежурной сестръ не спалось. Она лежала на жесткой кушеткъ, машинально прислушиваясь къ отдъльнымъ ружейнымъ выстръламъ и тиканью старинныхъ часовъ на стънъ - единственнымъ доносившимся звукамъ. А въ голову лѣзли неотвязныя мысли — ть самыя, которыя выползали откуда-то каждую минуту, не занятую тоудомъ.

Съ той самой ночи, когда, три мъсяца тому назадъ, Александра Георгіевна ушла изъ дому, чтобы поступить на курсы сестеръ. Исторія Александры Георгіевны была самой

обычной исторіей, какихъ тысячи Вышла замужъ сгоряча, по любви, но уже въ первые же мъсяцы начались размолвки. Слишкомъ ужъ различны были ихъ стремленія, взгляды, характеры Была надежда, что съ годами все сгладится, что они все поймутъ и привыкнутъ другъ къ другу. Думала, пойметъ же онъ, что незачѣмъ ему итти къ другимъ, искать другихъ, когда рядомъ съ нимъ живетъ любящая, способная понять его женщина. Въ часы ссоръ хотълось порвать все и уйти куда нибудь, — куда глаза глядятъ, но въ ръдкія минуты гармоніи опять върилось что счастье — въчно . . .

вать все и уити куда-ниоудь, — куда глаза глядять, но въ ръдкія минуты гармоніи опять върилось что счастье — въчно . . .

Но воть случилось то страшное, непоправимое, оть чего Александра Георгіевна бъжала изъ дому, сломя голову. Ей казалось, что весь городъ будеть издъваться надъ ними, показывать на нихъ пальцами. А между тъмъ, всъ отнеслись къ Петру Петровичу со снисходительнымъ со-

чувствіемъ.

— Не удалось, молъ, бъдняжкъ! И только...

Да и что, въ сущности, сдълалъ Петръ Петро-

вичъ Андреевъ?

Онъ никого не убилъ, не ограбилъ, не растратилъ казенныхъ денегъ, а просто "уклонился" отъ воинской повинности Уклонился, какъ сдълали это многіе изъ его знакомыхъ — получилъ отсрочку, записавшись рабочимъ въ какое то предпріятіе, работавшее на оборону.

Дъло раскрылось. Произошелъ большой скандалъ. Имя директора фабрики попало во всъ

Дѣло раскрылось. Произошелъ большой скандалъ. Имя директора фабрики попало во всъ газеты. А Петру Петровичу, какъ и многимъ, записавшимся фиктивно вмѣстѣ съ нимъ, пришлось принудительно исполнить тотъ долгъ, отъ котораго

они малодушно уклонились.

— Непріятная исторія, — говорили знакомые, и никто, меньше всего самъ мужъ, — не понимали, почему Александра Георгіевна дълаетъ изъ этого какую-то трагедію.

Петръ Петровичъ не могъ понять, что тотъ вечеръ, когда онъ пришелъ домой, растерянный и бладный, отняль у жены его все, что у нея

оставалось еще въ жизни: въру и любовь... Она давно уже не върила Петру Петровичу, какъ мужу и мужчинъ, но върила, какъ человъку,

считала честнымъ и порядочнымъ.

И вдругъ онъ — трусъ и предатель!

Съ тяжелымъ чувствомъ вспоминала Александоа Геоогіевна начало войны, совпавшее съ началомъ ихъ знакомства, обрученіемъ, медовымъ мъсяцемъ. Зараженная общимъ порывомъ, она тоже хотвла что то двлать, работать, но Петръ Петровичъ смотрълъ на всъ ея начинанія, какъ на ребячество.

Какъ стыдно вспоминать медовые мъсяцы, полные эгоистичной любви и ласкъ, оставлявшихъ такъ мало времени для дъла.

Первый годъ войны она съ увлечениемъ отдавалась "общественной работь": жертвовала лишніе рубли, ходила съ кружками въ дни сборовъ, шила какія-то рубашки для воиновъ... А потомъ все это было забыто. Война ото-

двинулась куда-то на задній планъ, и опустъвшее мъсто заняль онъ, мужъ...

Бывали минуты, когда мелькало сознаніе, что такъ жить нельзя. Становилось стыдно за изысканный туалеть, за дорогія кушанья, торыхъ требовалъ мужъ, за приглашеніе кому не нужныхъ гостей. Но все это были минуты. Онъ проходили — и все шло по старому. А та ночь кончила все гразомъ, поставила

крестъ на всемъ...

Она не переписывается съ мужемъ, не знаетъ даже точно, гдъ онъ. Можетъ быть, онъ искупилъ свою вину тамъ, въ огнъ передовыхъ позицій?

Только врядъ ли . . . Навърное, сумълъ устроиться безопасн ве . . .

— Сестрица, принесли раненаго! Александра Георгіевна закуталась плотнве въ теплый платокъ и вышла въ перевязочную. Офицеръ, раненый въ ногу, лежалъ на носилкахъ блъдный, какъ трупъ, и только въ глазахъ его свътился тотъ блескъ упоенія, котораго такъ долго не могла понять Александра Георгіевна. И не замъчала, что у нея самой загорались глава, когда начинали грохотать орудія.

Пока сестра дълала перевязку, принесли еще раненыхъ. Санитаръ пошелъ будить сестеръ.

Тамъ, за имъніемъ, начиналось дъло.

Н-скій полкъ стоялъ второй мѣсяцъ въ резервѣ въ небольшомъ провинціальномъ городишкѣ. Такъ какъ скорой перегруппировки не предвидѣлось, офицеры постарались устроиться въ городкъ поуютнъе и перезнакомились со всъми. Командиръ полка, старый холостякъ, не отстапомандиръ полка, старыи холостякъ, не отставаль отъ молодежи и разръшалъ устройство и вечеринокъ, и спектаклей, и маскарадовъ Офицерское собраніе, завладъвшее заломъ реквизированнаго зданія нъмецкаго театра, стало центромъ мъстнаго бомонда. Офицеры, въ большинствъ молодежь-прапорщики "ускоренныхъ выпусковъ", шиковали во всю, задавая тонъ всему городу.

Прапорщикъ Андреевъ былъ "непремъннымъ членомъ" всъхъ баловъ, концертовъ и кутежей. Природное остроуміе и веселый нравъ сдълали его скоро общимъ любимцемъ. Красивый парень, онъ легко одерживалъ многочисленныя побъды надъ сердцами бъдныхъ провинціалокъ. Товарищи не разъ шутили, что если бы за каждую побъду

представляли его къ наградъ, — вся грудь его была бы увъшана орденами

Никто не считалъ Андреева женатымъ и мамаши усердно прочили за него своихъ незрѣлыхъ и перезрѣлыхъ дочекъ. Да и самъ Андреевъ въ этой новой обстановкѣ подчасъ забывалъ, что у него есть тамъ, гдѣ то, жена. Хотя воспоминаніе о послѣдней встрѣчѣ съ женой, которую по своему все таки любилъ Андреевъ, отравляло прапорщику подчасъ беззаботныя минуты. Самолюбивый эгоистъ, онъ не могъ забыть оскорбленій, которыя она бросила ему въ лицо въ ту памятную ночь...

— Глупо и дико... дико и глупо — говориль себъ Андреевъ, но отогнать воспоминаній

окончательно не могъ...

Была еще и другая мысль, тревожившая часто прапорщика Андреева: та мысль, которая сыграла не последнюю роль въ его желаніи устроиться тогда съ отсрочкой. Мысль, которая являлась ему чаще всего при виде тяжело опирающихся на деревяшку инвалидовъ или солдать, у которыхъ вместо руки болтался одинъ пустой рукавъ.

Мысль разстаться съ какой-нибудь, хотя бы самой незначительной, частью своего красиваго твла пугала Андреева больше, чвмъ страхъ смерти. Покончить со всвми благами жизни, которую онъ такъ любилъ, или стать калвкой — это казалось Петру Петровичу такимъ дикимъ и

безсмысленнымъ.

Но пока еще фронтъ и связанныя съ нимъ опасности были далеко, и Андреевъ торопился пить искрящійся напитокъ изъ полной до краевъ чаши жизни...

Андреевъ проснулся въ первомъ часу дня. Больла налитая свинцомъ голова. На ногахъ

лежали пудовыя гири. Во рту быль характерный вкусь чего то прогорклаго... Посмотръль на часы. Вспомниль, что праздникь, и повернулся на другой бокъ. Въ памяти мелькали отрывочные образы вчерашняго кутежа.

Громкій голось спросиль:

— Петръ Петровичъ дома? — Ихъ благородіе спять! — отвѣтили сму

громкимъ шопотомъ.

— Ерунда, чего тамъ спать, — заявилъ, входя въ комнату, высокій, тонкій прапорщикъ.-Какъ скоро вчера нализался! А я за тобой — поъдемъ завтракать въ "Венецію". Одъвайся, я подожду. Семеновъ, свъжая газетка есть?

Солдатъ принесъ газету. Пока Андреевъ, лъниво потягиваясь, одъвался передъ большимъ

зеркаломъ, гость просматривалъ газету.

— У тебя есть родственница, сестра милосердія? — внезапно спросиль онъ — да, впрочемъ, Андреевъ — такая распространенная фамилія.

— А въ чемъ дъло? — спросилъ прапорщикъ и какое-то непріятное чувство поползло по

его душъ.

— Да вотъ, какая-то сестра милосердія Андреева отличилась и къ двумъ медалямъ представлена! — "За самоотверженную, превосходную работу подъ огнемъ непріятеля", - какъ сказано въ приказъ. Спасая раненыхъ, сама ранена въ руку. Да, есть такія и немало ихъ... Вотъ, помню, когда мы стояли подъ Перемышлемъ...

— Какъ ее зовутъ? — быстро перебилъ

товарища Андреевъ. – Сейчасъ... Гдъ это? Ахъ, вотъ... Андреева Александра ... Да не рви изъ рукъ газеты! Родственница что ли?

— Да, родственница. — тихо отвътилъ Андреевъ, смотря на короткія, но красноръчивыя строки, изъ-за которыхъ вставалъ передъ нимъ образъ когда-то — еще такъ недавно — горячо любимый.

И вполголоса прибавилъ:

— Моя жена ...

— Жена? Ты женатъ? — удивился прапорщикъ.

Но Андреевъ уже не слышалъ вопроса.

Онъ ушелъ вось мыслями въ прошлое и вспоминая — въ сотый, можетъ быть, разъ — ту ночь, когда Александра ушла изъ дому, увидълъ — впервые — всю сцену въ новомъ свътъ...

Что-то, похожее на угрызенія совъсти, зашевелилось въ его душь и сердце наполнилось невольнымъ уваженіемъ къ той, которая показала

ему - гдв его путь . . .

И жгло мозгъ сознаніе, что нельзя продолжать такъ дальше, что нужно что-то сділать, и сейчасъ — пока не погасло то, что проснулось въ душі.

— Ну, чего же ты закисъ? Уже половина второго, товарищи ждутъ. Вспомнилъ жену и за-

грустилъ — баба!

- Нътъ, я сейчасъ готовъ.

Въ самомъ дълъ, въдь ждутъ товарищи, ждетъ новый кутежъ.

И со смутнымъ сознаніемъ, что онъ дълаетъ не то, что нужно, Андреевъ сълъ съ товарищемъ въ сани и крикнулъ извозчику:

— Въ "Венецію", только поскоръй!

Шестое чувство.

...,Почему мы, женщины, обладаемъ этимъ Откуда у насъ это странное проклятымъ даромъ? чувство, мучительно подсказывающее близкую бълу, таинственный голосъ, предупреждающій объ опасности?

 Λ учше не знать — ничего не знать, и жить такъ, — свътлой минутой настоящаго, не заглядывая въ закрытую книгу будущаго... Что это? — Игра нервовъ? Самовнушеніе?

Невидимое вліяніе таинственныхъ токовъ?

Почему у меня такъ болѣзненно живо это шестое чувство, такъ мучительно властно надъ моей душой?

Не надо его, не надо!

Хочу жить съ закрытыми глазами!

А оно ползетъ и ползетъ...

Тоска, невыносимая тоска мучила меня въ тотъ осенній день, когда разставались мы съ мужемъ. Первый разъ за всь пять льть совмъстной жизни. $\dot{\mathcal{A}}$ о сихъ поръ я слъдовала за нимъ повсюду, куда ни забрасывала его воля судьбыили, върнъе сказать, воля министра путей сообщенія. Онъ служиль въ министерствъ...

Но теперь я не могла вхать съ нимъ: его прикомандировали въ прифронтовую полосу. А я ждала черезъ два мъсяца ребенка. Мой первый умеръ, не проживъ и полугода. Теперь мы

только и жили мечтой о немъ, нашемъ будущемъ сынъ. Это будетъ мальчикъ, непремънно малячикъ... Но внезапно это маленькое существо

потеряло для меня всякій интересъ.
Меня охватываль суевърный ужасъ при мысли о томъ, что мужъ уъзжаетъ черезъ двъ педьли... черезъ недълю... черезъ три дня...

завтра!

Состояніе мое было ужасно. Мужъ относиль его за счетъ моего положенія.

Но я знала, что теряю мужа навсегда...

Я виновата передъ своимъ сыномъ. Я мало думала о своемъ здоровь — его здоровь — мучительно тоскуя о мужъ. И онъ родился бользненнымъ и хилымъ. Онъ жилъ всего три мъсяца. Когда я глядъла на его блъдное личико, смотръвшее на меня изъ бълаго гробика — мнъ казалось, что я хоронила свою лучшую мечту . . .

Но гдъ то, въ глубинъ души, поднималось новое, легкое чувство — теперь ничто не могломнъ помъщать ъхать къ моему Володъ!

Но человъкъ предполагаетъ, а располагаетъ

слѣпая бездушная судьба!

Я забольла, долго была больна посль смерти моего мальчика, а потомъ должна была беречься, и врачи категорически запретили мив уъзжать.

Въ началъ мая я получила письмо, взволновавшее меня до крайности: мужа командиро-

вали на позиціи!

Я, недолго думая и не предупредивъ никого, собралась въ дорогу. Я должна была проститься съ нимъ. Онъ не смълъ уйти на войну, не повидавшись со мной!

Восемь дней, утомительно долгихъ, провела я въ пути. Передъ моими глазами прошелъ цѣлый рядъ людей, чужихъ жизней. Проходили и уходили, ѣхали куда то, торопились, расходились, чтобы не встрътиться снова . . .

Каждый вечерь, устраиваясь на верхной

полкъ, я думала:

— Слава Богу, однимъ днемъ ближе къ нему!

И сердце трепетало радостью близкаго сви-

данія . . .

И вотъ я въ Д. Поздно вечеромъ прибылъ поъздъ на шумную станцію. Я оставила багажъ на вокзалъ и поъхала въ штабъ узнавать Володинъ адресъ. Оказалось, что это совсъмъ недалеко. Мнъ объяснили дорогу и я пошла пъшкомъ. Улица тонула въ майскомъ полумракъ. Стояла странная тишина, изръдка прерываемая гулкими раскатами.

Я старалась представить себъ, какъ уди-

вится и обрадуется мужъ.
Вотъ эдъсь Хорошенькій домикъ, окруженный садикомъ. Вотъ его карточка на двери. Навърное, этотъ звонокъ. Но вдругъ меня остановила мысль:

— А если его нътъ дома?

Стояла у звонка въ какой то странной не-ръшительности. И вдругъ попочато откуда то снова это странное чувство, этотъ непонятный **с**трахъ . . .

Чего я ждала? Чего боялась?

Наконецъ, я справилась съ собой и дернула звонокъ. Одинъ разъ, другой . . . Третій. Ни звука Ни шага. Навърное, испорченъ . . . Постучать? — Взялась за ручку двери. Она

поддалась.

Темныя сѣни. Еще дверь. И она незаперта. Узнаю Володину небрежность. Передняя Нѣсколько дверей. Которая къ нему?

Да и занимаетъ ли онъ всю квартиру или

живетъ только въ комнать?

Пока я стояла въ нервшительности въ передней, мнв послышался Володинъ голосъ. Тамъ, въ концв передней. Полуоткрытая дверь . . . Изъ нея — тонкая полоска свъта. Значитъ, Володя дома.

Я быстро подошла и открыла дверь . . .

Когда я впослъпствіи думала объ этой ночи, я вспоминала ее, какъ кошмаръ! Эта картина всегда стоитъ передъ моими глазами, и будетъ тамъ стоять, стоять — пока смерть не закроетъ ихъ навъки . . .

портретъ. Круглое аляповатое зеркало съ затныхъ травъ. Кресло качалка.

Вотъ фонъ, на которомъ я увидъла ихъ... Впрочемъ, ея я почти не видала... Помню только готическій профиль, черные волосы. Серьги: большія золотыя кольца. Эти кольца, дрожавшія при каждомъ ея движеніи, застряли въ моей памяти.

Я не смотръла на нее. Я видъла только его лицо, его глаза, полные страсти и нъжности. Глаза, которые смотръли такъ на другую! Съ минуту стояла я въ дверяхъ. Они не замътили, что дверь открылась.

Имъ было не до того . . .

Одно безумное желаніе сдавило мою душу:

— Проснуться, скоръй проснуться, въдь это же сонъ, сонъ! Но это не было сномъ . . .

Какъ я вышла въ съни, какъ открыла дверь, очутилась на улицъ — не помню ничего!

Бродила всю ночь по тънистымъ улицамъ незнакомаго города, смотря вокругъ ничего не видящими глазами. А въ мозгу упорно стучала одна мысль, которой онъ не хотълъ понимать. Не хотъль понимать, что насталъ конецъ всему, всему!

— Онъ больше не любитъ . . . любитъ

другую . . . счастливъ съ другой! . . Запъли зяблики. Зачирикали воробьи. Вос-

ходило солнце.

Все чаще раздавались раскаты. Они говорили о томъ, что Володя скоро пойдетъ туда,

гдъ умираютъ за родину . . . Когда началась уличная жизнь, прошли первыя партіи солдатъ, проъхали первые автомо-

били, я пошла на вокзалъ. Первымъ поъздомъ я уъхала обратно.

Володя не узнаетъ никогда, что я была су него въ ту ночь . . .

Остальное все — сонъ. Тревожный бредъ больного, отъ котораго я не проснулась еще и сейчасъ. Была тупая боль — и больше ли-

Но такая боль, отъ которой нѣтъ нигдъ

спасенія . . .

Одинъ разъ ворвался въ эту боль какой то ръзкій диссонансъ, пробудившій во мнъ мучн-

тельныя чувства: ревность и почти - ненависть.

Это — когда пришло письмо отъ Володи, увзжавшаго на фронтъ.

Длинное. Нъжное . . .

Къ чему эта ложь? Неужели нельзя сказать прямо и честно:

— Не люблю тебя больше. Люблю другую.

Я не отвътила на письмо.

Володя никогда не солжетъ, какъ человъкъ человъку.

А женщинъ лгать — можно! . . .

Когда пришло извѣстіе, что Володя убитъ — извѣстіе, которое такъ осторожно старались сообщить мнѣ тетки, я приняла его съ тупымъ спокойствіемъ. Для меня Володя умеръ давно . . . Умеръ въ ту ночь . . . Я тоже хотъла умереть. Здъсь не осталось

для меня ничего.

Одна тупая, мертвящая боль . . . Но искать смерти самой — не было силы...

"Смерть, гдф жало твое?"

Теперь мив понятны эти слова. Смерть не страшна, когда она ежедневно, ежеминутно про-

ходить передъ глазами.

Я видъла, какъ умирали въ палатахъ ране-ные. Многіе отходили въ ужасныхъ мученіяхъ. съ душераздирающими стонами Но большая часть умирала съ какой то странной покорностью... Я долго смотръла на эти изможденныя лица, стараясь проникнуть въ тайну ихъ

кротости, въ великую тайну души русскаго солдата...

Въ лазаретъ мнъ стало хорошо. Отошла ноющая боль.

Эдъсь не было мъста личной жизни.

Всю ночь грохотали орудія. Шла артиллерійская подготовка. На утро они перешли въ наступленіе. Насъ, кажется, меньше, чъмъ ихъ... Въ лазаретъ то и дъло приносятъ раненыхъ. Мы не успъваемъ дълать перевязки. Я не спала три ночи. Я еле держусь на

ногахъ. Меня зовутъ то туда, то сюда... Мнъ нехорошо, очень нехорошо... Сказались безсонныя ночи...

И опять это мучительное, гнетущее чувство... Какая еще бѣда грозитъ мнѣ? Какое несчастье можетъ еще стрястись въ моей жизни? У меня нечего больше взять судьбѣ! ... Боже, какой тамъ адь!...

Какъ рвутся гранаты и прапнели . . . А люди идуть въ этоть адъ, бросаются впередъ, подъ огненнымъ дождемъ, навстръчу вьоной смерти . . . "

Здѣсь кончаются записки сестры милосердія Елены Лебедевой, убитой осколкомъ гранаты, залетъвшимъ въ лазаретъ...

Сестра Смерти.

Ее знали многіе участники Японской войны — эту блѣдную, невзрачную сестру милосердія. Рѣсницы ея были всегда опущены, такъ что никто не зналъ, какого цвѣта ея глаза. Единственное, что было въ ней красиваго — это волотистые, почти золотые, волосы. Несмотря на то, что она силилась зачесать ихъ совсѣмъ гладко, они лежали вокругъ ея головки какимъ-то сіяніемъ...

Никто не помнилъ, какъ ея имя-фамилія. Всъ звали ее за глаза "Сестра Смерти", а вълицо — просто "сестра"...

Врачи относились къ ней корректно холодно, но цѣнили, какъ отличную работницу. Сестры

сторонились ея.

И только раненые любили эту сестру съ сіяніемъ святой...

Ее чаще всего видъйи у постели умирающихъ, которыхъ она напутствовала въ иную жизнь.

Что она говорила имъ, что загорались ея глаза и все лицо свътилось какимъ-то сіяніемъ?

Говорила ли она имъ о близкихъ, оставшихся тамъ на родинъ, за сотни верстъ?

О великой смерти воина?

О свътлой будущей жизни?

Какъ тихая музыка, звучалъ задушевный голосъ. И умирающіе забывали мучительныя раны, страхъ смерти, тоску разлуки съ близкими

и глядъли въ эти кроткіе, сіяющіе глаза — пока не переставало биться ихъ сердце...
Тогда Сестра Смерти наклонялась надъ скончавшимся, закрывала нъжной рукой его глаза и шла къ другому...

Напутствовать умирающихъ было ея призваніемъ.

Какъ только затихали выстрълы боя, она

выходила на поле сраженія.

Проходя мимо раненыхъ и убитыхъ, она находила такихъ, которымъ ничто не могло уже помочь, и, сдълавъ имъ перевязку, подъ звъзднымъ небомъ чужой страны, говорила свои волшебныя слова.

Никто не зналъ, кто она. Никто не зналъ, да и не интересовался знать — была ли у Сестры Смерти личная жизнь, или она всегда посвящала себя облегчений страданий другихъ . . . Никто не зналъ, что означала глубокая

скорбь этихъ странныхъ глазъ, почти всегда скрытыхъ ръсницами . . . Глядъло ли изъ нихъ личное горе, или они были такими, потому что видъли всегда мученія другихъ . . .

Потому что такъ часто глядъли въ глаза

смерти . . .

Она не говорила ни съ къмъ, кромъ своихъ раненыхъ, и незамътно, тихо творила свое дъло. И когда проходила она — тонкая, до изможденія худая, опустивъ въ землю глаза, невольно замолкаль веселый смъхъ молодыхъ безпечныхъ сестеръ, болтавшихъ съ офицерами... Потому что отъ нея въяло смертью...

Когда отзвучали последніе выстрелы Япон-

ской войны, она вернулась въ Россію.

Поъхала ли она на широкій просторъ Поволжья, откуда она была родомъ (единственное, что знали про Сестру Смерти другіе), осталась ли гдівнибудь въ лазаретів — было неизвістно.

Только съ первыми залпами Балканской войны появилась она снова на театов военныхъ

дъйствій.

Планные турки говорили, что видали ее во время Итало-Турецкой войны . . .

Ее не узнать, спутать съ къмъ-нибудь другимъ было невозможно.

Гремъли выстрълы. Слышались стоны раненыхъ. Кровь умирающихъ обагряла землю.

И, наклонившись надъ отходящими, блъдная сестра съ золотымъ сіяніемъ шептала имъ свои волшебныя слова.

О будущемъ величіи всеславянства.

О кресть, что, видный всему славянскому міру, возсіяеть надъ Святой Софіей . . .

И снова загремъли орудія. Снова зардълся на востокъ пожаръ, но огонь его охватилъ и югъ, и западъ. Море крови заливало Европу и, казалось, не будеть ему предвла, и захлебнутся въ немъ всъ края и народы . . .

И снова появилась на фронтъ странная сестра, въ которой участники Японской войны

узнали Сестру Смерти...

Съ самыхъ первыхъ военныхъ дней - до дня позорнаго мира — творила она тамъ, на фронтъ, свое скромное дъло. И многіе легко отошли въ иной міръ, ободренные ея свътлой улыбкой.

Съ върой въ свое правое дъло. Въ гря-

дущую близкую побъду . . .

Не тронули ее и озвърълые красные дикари. И въ тъ дни, когда въ лазаретахъ царилъ произволъ и грубая сила, когда сестры вынуждены были терпъть издъвательства и униженія отъ тъхъ, кому отдавали заботы и жизнь — Сестра Смерти проходила по палатъ такъ же спокойно, какъ и годы назадъ, когда ее тронуть не посмълъ бы никто.

Смолкали при ней непристойныя слова. И никто не рышился оскорбить странную сестру ни словомъ, ни движеніемъ...

На бѣломъ фронтѣ, средь бѣлыхъ орловъ, исходившихъ кровью, угасла жизнь бѣлой сест! ы. Отъ тифа умирала она, заразившись отъ своихъ больныхъ. Вѣ холодномъ, нетопленномъ баракъ – сараъ . . .

Лежала безъ памяти, и въ жару бормотала

какія то слова, которыхъ не понималь никто. Металась по подушкь ея голова и небрежно сръзанные къмъ-то волосы одъвали ея лицо какимъ то страннымъ сіяніемъ.

Но не волотыми были уже они, а сере-

бояными . . .

И серебро волосъ говорило краснорвчивъе всего о тъхъ нече овъч скихъ страданіяхъ, которыя терпъ а за послъдніе годы сестра. . . Она умерла на разсвътъ. Первые солнечные

лучи, еще алые, пробрались сквозь щели — окна въ баракъ, освътили ея вънецъ. Бросили красные блики на ся бълое-бълое лицо. Гдъ то пропъ ъ пътухъ. Долетъли звуки

пробуждающагося гагеря.

П, прислушиваясь къ знакомымъ звукамъ, говоришимъ ей такъ много, Сестра Смерти пой-

мала взглядъ солнца, брошенный на ея лицо и, сложивъ руки, какъ передъ Причастіемъ, прошептала отчетливо и ясно:

— Воскреснетъ ... Россія!..

ОГЛАВЛЕНІЕ

CTD.

Предислов	ie .										•		5
"Онъ" .											•		7
Русскій фл	агъ												14
Колькинъ			•										19
Арестантъ	Ива	нов	зъ										27
Нервы не	выде	еρж	ал	И									37
Полковник	ъ Ре	йс	ъ										51
Каинова п	ечать	5											6 3
Джэкъ Бай	ірмен	ľЪ					•	•					7 5
Сочельник													84
Мой жених	съ Мі	ирк	o										93
Голуби.													101
Безъ винти													107
Царь													121
													124
Старый Я													132
Плачъ сост													147
Звъзда сла		i C	ко	обі	1								153
Славный м													158
_										•			169
Махмутка													178
Свътъ и т	ъни			•				•					185
Шестое чу				·									195
Сестра См						:		•					202
order om	- F	-		-	•	-	-		-	-	-	· .	



Готовятся къ печати слъдующія книги того же автора:

"Тринадцать"

"Оборванныя струны" сборникъ разсказовъ

"ЗИМНІЯ ЗВЪЗДЫ"

романъ въ 2 частяхъ

"Языческимъ богамъ"

II сборникъ стиховъ

Первая книга выйдеть въ апрълъ с. г.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Цена въ Латвіи,

Эстоніи и Литві-1 лагъ

- ", " Франціи и Бельгіи—10 фр. франк.
- " " другихъ странахъ—45 ам. центовъ